

Юзеф Игнацы Крашевский

БОЖИЙ ГНЕВ

*Исторический роман из времен
Яна Казимира*

ЧАСТЬ I

I

В царствование Владислава IV его единоутробный брат, князь Карл Фердинанд, епископ вроцлавский, занимал недавно построенный флигель замка, уступленный ему вместе с садом до самой Вислы.

Здесь он помещался вместе со своим маленьким двором, запершись, как в монастыре, в этом здании и саду, за которым любил ухаживать.

Князь Карл вел жизнь суровую, замкнутую, посвященную молитве, хозяйству и уходу за любимыми цветами.

Это была единственная часть замка, куда не ступала нога женщины.

Казалось, что этот образ жизни, к которому князь привык, никогда не изменится, как вдруг пришла весть о кончине короля в Мерече, в Литве, в такое время, когда грозный пожар широким

полыме́м распро́странялся на Руси, опустошаемой кровавым казацким восстанием, — и эта весть внесла тревогу в спокойный дотоле уголок...

Край остался беззащитным и потерял главу и отца. Можно себе представить, какую тревогу возбуждали известия о поражениях, следовавших одно за другим! Войско рассеяно, гетманы в казацко-татарском плену... гроза все ближе и ближе.

Беглецы с полей битвы и из обозов распространяли переполох... Казалось, приходит день Страшного суда. Одни обвиняли других... а виноваты-то были все.

Дошло до того, что не погребенного еще короля обвиняли в подстрекательстве казаков против шляхты, которая не хотела его слушаться...

«Dies irae!» — раздавалось повсюду.

Толпы разнuzданной черни, уже хлебнувшей крови, проникали уже внутрь Речи Посполитой, которой нечем было от них обороняться.

Только имя Иере́мии Вишневецкого еще служило щитом. Единственным спасением от разгрома был скорейший выбор короля, который бы взял власть в сильные руки и собрал вокруг себя защитников. Отсрочка грозила гибелью.

Ближайшими к трону были, разумеется, двое братьев короля: экс-кардинал Ян Казимир и епископ вроцлавский Карл Фердинанд. Последний,

однако же, казалось, так чуждался честолюбия и так был привержен к своему духовному сану, что никому и в голову не приходило заподозрить его в стремлении к короне. Напротив, Ян Казимир, который в своей жизни хватался за все, и все бросал с отвращением, — при первом известии о кончине брата, от которого унаследовал титул шведского короля, не мог не вспылать сильнейшим желанием добиться короны.

Остается загадкой, кто первый подал епископу вроцлавскому мысль добиваться престола, к которой он сам, быть может, и не пришел бы. У него было мало друзей среди духовных и светских сенаторов; ни с кем он не умел ладить; молчаливый, недоступный, скупой, он никого не привлекал к себе. Возможно, что переписка со шведской родней дала первый толчок.

Как бы то ни было, но, к общему удивлению, распространился слух, что князь-епископ будет добиваться короны. В то же время на берегу Вислы, принадлежавшем князю Карлу, спешно принялись по его приказу за какие-то постройки.

Это было тем удивительнее, что по смерти короля братья должны были поделить между собою дворцы в Краковском предместье и Уяздове, а Карл очень не любил расставаться с деньгами.

В местности, предназначенной для построек, стоял сарай, служивший двору для переодевания и

отдыха при купании в Висле. В нем был устроен кегельбан, а позднее какой-то предприимчивый мещанин выпросил разрешение устроить кабачок, в котором продавал вино, мед и пиво.

Из придворной челяди и панов, которые бывали при дворе, многие, поразгульнее и помоложе, собирались здесь погулять на свободе. В замке нужно было вести себя тихо, смиренно, ходить с оглядкой; а здесь они оказывались за стенами и за глазами.

Вдруг, по смерти короля, среди охватившего умы брожения, появились плотники, каменщики, толпа рабочих, под начальством строителя итальянца, и принялись с великим спехом за перестройку сарая.

Никто, не исключая самого строителя, не мог объяснить, для чего предназначается новая постройка. Любопытные, заглядывавшие сюда, видели посередине огромную длинную залу, а по бокам комнаты поменьше. С одного боку пристраивалась огромная кухня, а под одной из комнат закладывался погреб.

Ни для кого не было тайной, что все это устраивалось на средства князя епископа вроцлавского, который сам два раза выходил из своего сада посмотреть постройку и поторопить работы.

Огромная постройка, частью из кирпича,

частью из дерева, вскоре была готова; стены выбелены и выкрашены; в большой избе расставили в два ряда столы с лавками; к стенам прибили невзрачные, но многочисленные подсвечники; в боковых комнатах, убранных понаряднее, расставили стулья, столики и буфеты.

Можно было предполагать, что вскоре кто-нибудь откроет здесь гостиницу. И, действительно, вскоре здесь водворился силезец, служивший при княжеском дворе, некий Нитопа, а взятый с кухни канцлера Оссолинского молодой и способный повар Чернушка принялся за стряпню.

Легко было догадаться, что все это устраивается ради привлечения шляхты ввиду предстоящей элекции¹, хотя гостиница стояла так далеко от элекционного поля, что многим шляхтичам было неудобно посещать ее.

До избирательного сейма оставалось еще довольно времени, а в гостинице уже началось оживление, не прекращавшееся до конца выборов. Шли сюда главным образом мазуры, но за ними и другие, так как двери были открыты для всех; Нитопа принимал гостей радушно, кормил, поил и платы не требовал. Кроме него, еще несколько шляхтичей, Высоцкий, Чирский, Нишицкий,

¹ Выборы короля.

заседали здесь, приводили сюда панов-братьев и явно старались склонить их на сторону князя епископа.

По надобности или без надобности — но так как здесь каждый день пахло жареным, а пиво и мед были хорошие, то люди тянулись сюда охотно.

Все дивились, что такой скупой пан не жалеет расходов, а Нитопа говорил своим ломаным языком:

— Для Речи Посполитой пан ничего не пожалеет.

Сначала в гостинице было не так много посетителей, хотя пустой она не стояла; но по мере приближения выборов наплыв усиливался, и большая комната часто бывала набита битком. Если кто засыпал на лавке и оставался на ночь, — его не тревожили.

Нитопа заведовал только хозяйственной частью и порядком; Высоцкий же, Чирский и Нишицкий были ораторами и руководили делом.

С ними никто не мог потягаться. Каждый из них имел свои достоинства и ни один, как говорится, не лазил за словом в карман. В случае надобности они помогали друг другу.

Высоцкого можно было назвать их главою; смысленый, речистый, он — хотя и простой шляхтич — был так представителен и так умел показать товар лицом, что каждый считал его за

представителя знатного рода и богатого пана, хотя у него не было и клочка земли. Но он так гордо носил голову, выпячивал грудь, закладывал руки за пояс, так умел работать ногами, что стоял ли он, сидел ли, ходил ли, все это выходило по-пански. На людей смотрел свысока и обращаться с собой запросто не позволял. К нему должны были относиться с почтением, хотя никто не сумел бы объяснить, за что? Речь его вовсе не отличалась блеском, но и тут он умел держать себя так, что его считали оратором. Брякал, махал руками, поводил глазами... рычал, покрикивал — и с таким победоносным видом, что убеждал всех. Кроме того, он был огромного роста, так что мог видеть через головы толпы, и если замечал где-нибудь что-нибудь неладное, мигом устремлялся туда.

Внешность помогала его речи.

Чирский, маленький, проворный, шутник, каких было много в то время, которого ставили наравне с сильнейшими тогдашними остряками — Самуилом Лащем и Залишевским, — неугомонный, с вечными гримасами, с торчавшими, как щетина, волосами, с огромным ртом, с округлым брюшком, взял на себя обязанность увеселять всех, а кого нужно — высмеивать.

Остроумие его не отличалось тонкостью; он рубил, как топором, но слушателей своих знал досконально и никогда не давал маху; понимали

они его всегда. При случае он повторял чужие слова, но так переплетал их со своими, что они сходили за его выдумку.

Умнейшим и красноречивейшим политиком был Нишицкий. О нем говорили, будто он готовился к духовному званию, но вышел из иезуитской семинарии, решив заняться правом. Немножко богослов, немножко юрист, он не был ни тем, ни другим. Говорил легко, сильно и никогда не сдавался.

Раз начав говорить, он умел заставить себя слушать; а рассердившись, мог часа полтора подряд переливать из пустого в порожнее, повторяя одно и то же на разный лад. В конце концов измученные слушатели восклицали:

— Согласны... согласны...

Эти три благородных пана были в гостинице ежедневно. Если заходил кто-нибудь новый, они завладевали им, кормили, поили, забавляли и не отпускали до тех пор, пока он не давал обещания, что сам будет приходить и других приводить.

Чирский гордился тем, что был родственником каштеляна Холмского; Нишицкий сам имел титул хорунжего Бельзского.

Нитопа был человек по-своему честный; но он не был бы сыном своего века, если б не старался набить себе карман. За кухней и кладовой невозможно было уследить. Мясо исчезало

неведомо куда, а погреб опустошался иногда в один день. Бывали дни, когда под вечер приходилось посылать на рынок, чтоб не осрамиться.

Высоцкий, главным образом, налегал на то, что скупость была бы неуместна, и на свой лад убеждал епископа.

— Вы, сударь, должны понимать, что здесь либо пан, либо пропал, либо староста, либо капуцин. Остаться в дураках было бы невесело. Мне самому жаль князя и его денег, но если хочешь быть королем — не скупись!

Однажды осенним вечером в гостинице столпилось больше, чем всегда, народа, и было так шумно, что во дворце князя Карла, отделявшемся от гостиницы только незначительной полосой земли и стеною, наверное, все было слышно.

Не проходило дня, чтобы с арены казацких погромов, с полей позорных поражений, из краев, подпавших под власть пьяной черни, не явился какой-нибудь жалкий беглец, уцелевший среди резни и бежавший из плена. Волосы вставали дыбом у слушателей, когда эти несчастные принимались рассказывать. В этот день всех занимал шляхтич из Полесья, некто Смердовский, рассказывая с раннего утра об ужасах, которых был свидетелем. Некоторые выражали недоверие к его рассказам, но он бил себя в грудь и твердил:

— Провалиться мне на этом самом месте, если

все это не святая правда, которую я видел собственными глазами!

Всех возмущали зверства взбунтовавшихся хлопов. В числе прочих, Смердовский один из первых принес известие, что, по словам казаков, покойный король позволил им мстить за несправедливости панам и шляхте.

Находясь в плену у казаков, из которого спасся чудом, он, по его словам, своими ушами слышал это от казацких старшин, и прибавлял, что следует поторопиться с выборами, так как казаки согласятся вступить в переговоры только с королем, с панами же — никогда.

Все были согласны с тем, что король и вождь, разумеется, необходимы.

О Ракочи, хотя он и набивался в короли, никто слышать не хотел; о других кандидатах некогда было думать; оставался только выбор между Яном Казимиром и Карлом.

Трудная задача предстояла тем, которые хлопотали за второго. Его никто не знал.

Зато Казимира знали слишком хорошо!

Тут, в гостинице, его не щадили, и Щирский, всякий раз, когда кто-нибудь упоминал о нем, прыскал со смеху.

— Этот устроит нам штуку, даст тягу, как Валуа, — кричал он, — если, не дай Бог, выбор падет на него! Где же он выдерживал? Монахом

был: недолго проносил каптур². Дал ему папа кардинальскую мантию: он ее назад отослал. Снова надел мирское платье — и то уж надоело. Дайте ему корону, ему и она скоро наскучит, — недолго проносит. Кто ж этого не знает? Поляков не любит; немцы да итальянцы его первые друзья, да попугаи, обезьяны, карлики, с которыми он проводит целые дни охотнее, чем с папами сенаторами. Проку от него для Речи Посполитой никакого не будет. А наш князь Карл, как всему свету известно, бережливостью и разумом собрал себе огромные средства, и вот теперь на свой счет снаряжает и посылает войска для обороны границ Речи Посполитой от казаков. У Казимира же гроша нет за душой, живет долгами, дожидайся от него толку!..

— Да, впрочем, разве можно их сравнивать, — продолжал Чирский с азартом. — Князь епископ человек степенный и почтенный, а тот за девками бегаёт, как молокосос; королева должна была замыкать от него двери своей девичьей.

Все слушали молча, как вдруг какой-то шляхтич, сидевший за кружкой пива с гренками, сказал:

² Монашеский капюшон.

— Помилуй Бог! Не везет нам с нашими королями, с тех пор как Ягеллонов не стало. Француза мы выбрали со страху, чтоб корона не досталась Ракушанину; а тот нам сраму наделал, удрал. Потом явился Стефан с волчьими зубами и начал притеснять, но этот, пожалуй, хоть порядок завел бы, если б не помешала смерть. А после него что было? С французом никто из нас говорить не мог, потому что он нашего языка не знал, а учиться ему не хотел; с Баторием, кто не умел говорить по-латыни, должен был объясняться через канцлера Замойского. Один Бог решил бы, кто собственно правил — Баторий или Замойский? Ну вот выбрали мы Сигизмунда с каплей Ягеллонской крови: о нем говорили, будто он учит молитвы по-польски. Бились мы из-за него, опять-таки чтоб не пустить Ракушанина! Что же вышло? Ракушанин дал ему и первую жену, и вторую, а с ними втерлась неметчина, и дети вышли в немцев.

Вероятно, шляхтич еще долго бы распространялся на эту тему, но Нишицкий перебил его, видя, что в конце концов его речь клонится не в пользу князя Карла.

— Э! — воскликнул он. — Какая польза жаловаться на Провидение и горевать о прошлых неудачах! Что было, того не переменишь. Но теперь *regulum in toga*; необходимо выбрать короля как можно скорее. А выбирать приходится кого-нибудь

из двух. Князя экс-кардинала, который уже велит называть себя шведским королем, мы знаем — за это одно его нужно отвергнуть. Ведь из-за этого титула шведского короля может разгореться война... Пусть же он королевствует в Швеции, а мы единогласно выберем в короли князя Карла. Все говорит за него.

Все молчали, никто не перечил, только глухой гул стоял в комнате. Часть гостей обступила шляхтича, рассказывавшего о зверствах казаков и татар, осыпая его с лихорадочным любопытством новыми вопросами, заставлявшими его рисовать все более страшные и кровавые картины. Вдруг теснившаяся у дверей толпа стала расступаться с каким-то странным жужжанием, и над ней показалась верхушка черепа, покрытого косматыми седыми волосами; в то же время из уст в уста стало переходить имя:

— Бояновский! Бояновский!

Имя это как будто обладало властью налагать молчание, так как все уста сомкнулись, а глаза обратились в ту сторону, где расступавшаяся толпа давала проход вновь прибывшему.

Высоцкий, Чирский, Нишицкий, услышав это имя, разом сошлись в кучку, как будто почуяли необходимость обороняться общими силами.

Наконец Бояновский, чья седая косматая голова долго одна виднелась над толпою, прошел

вперед и очутился на виду у всех. Он казался великаном, а худоба еще более увеличивала его рост. Он был, что называется, кожа да кости, но кости грубые, крепкие, переплетенные сетью мускулов и сухожилий. Обрамлявшая его продолговатое бледное лицо длинная седая борода, такая же растрепанная, как волосы, ниспадала на полуобнаженную грудь.

Мало кто мог смотреть на этого человека, не испытывая беспокойства и тревоги. Глубоко сидевшие под густыми бровями глаза смущали горевшим в них огнем. Правильные резкие, сухие черты лица носили выражение презрения и отваги. Бледные, почти белые тонкие губы были полуоткрыты.

Несмотря на одежду, которую правильнее было бы назвать лохмотьями, вид у Бояновского был величественный. Одежда, вроде епанчи бурого цвета, напоминавшая монашескую рясу без воротника, падала грубыми жесткими складками на ноги в кожаных штиблетах крепленных шнурками. Он был подпоясан шнурком же, скорее веревкой, на которой висели крупные деревянные четки, при ходьбе они стучали с треском, точно кости скелета. В одной руке у него была огромная, здоровенная дубина, на которую он опирался, и глядя на эту руку, легко было догадаться, каким богатырем был этот человек в молодости. Впрочем, и теперь

сдавалось, что если б он стиснул покрепче дубину, то из нее бы вода потекла.

Бояновский шел медленно, но не один; под левым локтем у него вертелся маленький человечек, который тяжело дышал и озирался беспокойными глазами; кто он был — слуга, товарищ, ученик Бояновского? — неизвестно; но он следовал за ним неотступно.

Дойдя до середины избы, где было гораздо просторнее, Бояновский остановился и обвел собрание глубоко сидевшими в орбитах глазами.

Всем присутствующим Бояновский был известен, по крайней мере, понаслышке. Хотя в настоящее время память о нем едва ли сохранилась, но тогда если не вся Польша, то значительная часть ее знала Бояновского либо слышала о нем. О его прошлом рассказывали разно: известно было только, что он много каялся в грехах, совершил паломничество в Святую Землю, был в Риме, а теперь ходил по монастырям, известным чудотворными иконами, и призывал людей к покаянию.

Он был красноречив, смел и никого не щадил. Многие интересовались им, хотя и боялись его, особенно паны и шляхта, которых он разносил и бичевал беспощадно. Духовные лица посмирнее часто старались удержать его от бурных выходок и склонить к более мирному настроению, но он

выслушивал их, не возражая, а поведения своего не изменял.

Рассказывали о нем, что, услышав о каком-нибудь публичном соблазне, он непрощенный являлся туда и требовал покаяния. Удавалось ему, и не раз, обратить грешника на путь истины, но чаще на него выпускали собак и швыряли в него камнями.

Хотя Бояновский выглядел нищим, но ни от кого не принимал подаяния; не отказывался только, если кто-нибудь хотел накормить его голодного. Это угощение, впрочем, недорого стоило хозяину, так как мяса он не ел, а утолял голод только похлебкой, хлебом и молоком.

Товарищ его, которого звали Варша, следил за тем, чтобы он не слишком морил себя постами, и иногда почти насильно заставлял его есть.

Многие считали его чуть ли не святым, и когда он появлялся где-нибудь, матери приводили к нему детей, чтобы он их благословил. Но он отказывался от этой чести, а иногда сердился.

«Я такой же грешник, как и вы, — говорил он нетерпеливо, — вы видите, что я каюсь в своих грехах. Не поможет вам мое благословение и моя молитва; молитесь сами за себя, и Бог вас услышит».

Вторжение Бояновского в гостиницу было непонятно здешним гостям и хозяевам, так как

старый странник не бывал в таких шумных собраниях и избегал их. Высоцкий и его товарищи не были ему рады. Не знали, кто его привел сюда.

Между тем полесский шляхтич, рассказывавший о своем бегстве от погрома, вскочил, точно в испуге, увидав Бояновского. Старик искал его глазами, и найдя, устремил на него такой пристальный и тяжелый взгляд, что Смердовский точно окаменел на месте.

Все затихли. Бояновский стукнул о пол своим посохом.

— Говори, — сказал он сильным и глубоким голосом. — Говори! Пусть и я услышу, как Бог карает нас. Говори!

Однако Смердовский, раньше такой речистый, точно лишился языка, и бормотал что-то непонятное. Те, которые слышали его раньше, начали подталкивать его и шептать:

— Да ну же, говори!

Высоцкий, быть может, довольный тем, что Бояновский ничего больше не требует, дал знак Смердовскому, чтобы он слушался. Но Смердовский казался совсем пришибленным.

— Сил моих не хватает, — сказал он слабым голосом, — и то, что видели глаза мои, самому мне начинает казаться сном, а не правдой. Как же другим, которые меня слушают? Кровь лилась и льется рекою, колодцы переполнены трупами,

вокруг местечек целые леса посаженных на колья. Никакой дикий зверь так не терзает своих жертв.

Пока шляхтич говорил это дрожащим голосом, старик слушал его молча.

— Разве ты можешь выдумать то, — сказал он, когда тот умолк, — чего бы не выполнила грозная кара Божия? Так оно и есть. Видел ли ты, слышал ли ты, во сне ли тебе приснилось — все это правда, все это было, есть или будет. Велики были грехи наши, и вот наступил день суда и кары Господней. Много лет тому назад предсказывал это пророческий голос Скарги, который все предвидел: плен и неволю, издевательство наших слуг над нами, резню, поджоги и постыдное бегство с полей битвы, и истязания, и реки крови, и вопли, к которым небо остается глухим... потому что грехи наши закрыли его для нас. Бог попустил — удар обрушился. И будет не один день — *dies irae*, но века гнева Божия, потому что веками копились грехи наши!

Бояновский застонал.

Тогда всю толпу, за минуту перед тем весело болтавшую и пившую, охватило смущение. Голос старца, раздавшийся точно из могилы, его таинственная, загадочная сила потрясли всех до глубины души. Послышались стоны, вздохи... у иных показались слезы.

Старец, устремив глаза вдаль, продолжал:

— Короля собираетесь выбрать; и правда — он нужен нам... но кто же из вас станет слушаться избранника? Избранника? Вы садите его на престол, чтобы глумиться над ним... чтобы он платил вам, чтобы извлечь из него пользу. Добиваетесь должностей якобы для пользы Речи Посполитой, а на самом деле, чтобы получать с них доходы, как с аренды. Жолнеры³ не слушаются вождей, гетманы ссорятся. В семьях несогласие, на сеймах раздор, в виду неприятеля и битвы непослушание. На войну везете с собой раззолоченные шатры и перины, серебряную посуду... чтоб казакам было, чем поживиться! Даже нашу старую храбрость выгнала из наших сердец эта гнилая распущенность. А пример подается сверху — и не смоеет этого одна кровавая баня. Мы видим только начало кары Божией, ее будут нести на себе поколения, она продлится века...

Голос его постепенно замирал и превратился наконец в неясное бормотание. Все были смущены и встревожены.

Нишицкий, который один считал себя способным справиться с таким страшным противником, приблизился к нему и сказал:

— Не отнимайте же у нас мужества, когда оно

³ Солдаты.

так необходимо! Бог даст, предостережение Его не пройдет втуне. Улучшение уже замечается; все здесь понимают, какого короля нам нужно, и выберут его единогласно.

Бояновский посмотрел на него долгим взглядом.

— Молитесь и творите покаяние, — сказал он. — Вы ничего не знаете, вы слепы, а похваляетесь, будто сильны. Но эта сила дана только здоровым и неиспорченным народам. Мы уже не властны над собой и гибнем жертвою наших грехов. Не выбрать вам того, кого хотите выбрать, и не достигнет он того, что задумал. Порвались вожжи и возницы мчатся в пропасть. Молитесь и кайтесь! Молитесь и творите покаяние!

Высказав это громким голосом, Бояновский еще раз обвел глазами собрание, но уже не увидел полесского шляхтича. Тот куда-то скрылся.

Старец, постояв немного среди общего тревожного молчания, медленно повернулся и, покрутив усы, направился к двери. Никто не посмел его удерживать; только несколько близ стоявших нагнулись было поцеловать руку благочестивого мужа, но старец быстро спрятал ее, не допуская таких знаков почтения.

Толпа смыкалась за ним, и по углам огромной залы послышался глухой гул, который вскоре превратился в громкий говор. Все вздохнули

свободнее, когда Бояновский ушел.

Смердовский, который прятался где-то в углу, снова вынырнул из толпы.

— Благочестивый муж, — заметил вполголоса Нишицкий, не особенно довольный впечатлением, которое оставил старик. — Благочестивый муж, но терпит за тяжкие грехи.

Нишицкий указал рукою на свой лоб.

— Тут у него все перепуталось... смешивает свои грехи с нашими. Бог справедлив и милосерд; то, что мы вытерпели, достаточная кара. Выберем короля, соберемся вокруг него, и пойдем на холопство с прежним рыцарским духом.

Какой-то шляхтич возразил из толпы:

— У нас-то, по старинному обычаю, король был главным гетманом, а где же епископу, который с детства учился только благословлять, братья за оружие, которого он отродясь в руках не держал!

Чирский и Высоцкий разом зашикали на него.

— Вождей, гетманов у нас хватит, — закричал Чирский — королю достаточно мужества, которым князь Карл обладает... Рыцарство у него в крови: пусть только наденет панцирь да шлем, увидите, как он себя покажет.

Это заявление было встречено смехом, но общий говор прекратил спор. Высоцкий велел подавать кушанье и наполнить кубки.

II

Королева Мария Людовика, в трауре, со слезами на глазах, задумалась над раскрытой книгой, с брошенными на нее четками, лежавшей на обитом черным сукном с траурным флером аналое в ее спальне.

Годы, проведенные в Польше, тяжелые и неустанные заботы наложили свою печать на ее все еще красивое лицо, выражение которого было полно энергии и силы. Она была измучена, но мужество не покидало ее. Казалось, в этой задумчивости она готовилась к дальнейшей борьбе. Мысль ее, должно быть, уносилась в прошлое, она вспомнила счастливые годы, проведенные во Франции, позднейшую борьбу и с трудом доставшиеся успехи в Польше.

Они не подлежали сомнению, и хотя королева не хвалилась ими, напротив, предпочитала умалчивать о них, чтоб никого не задеть, но влияние ее давало себя знать всюду. Отличаясь набожностью, она привлекала на свою сторону влиятельнейшую часть духовенства; а своим воспитанием, любезностью, манерами снискала расположение многих панов, предпочитавших иностранные обычаи старозаветной польской простоте. На Севере представляла она интересы Франции и соединяла вокруг себя все, что могло им

служить, а так как каждый из сочувствовавших и преданных ей панов сенаторов был главою значительного количества простой шляхты, то королева могла рассчитывать и на нее.

Теперь она размышляла о том, какую роль взять на себя в предстоящей элекции и что именно предпринять. Она никого не могла пригласить на совет, никому не могла признаться. Она принимала всех, выражавших ей сочувствие, начиная от старого примаса, как вдова, убитая горем, сознанием невозвратимой потери.

Ни для кого не было тайной, что покойный король отнюдь не был связан прочными сердечными узами со своей супругой. Равнодушный до конца, развлекавшийся кое-какими интрижками, он только по обязанности оказывал жене почтение, для вида брал ее с собой в поездки; уступал ее требованиям, побаивался острых размолвок, но не любил ее. Она тоже оказывала ему почтение, подобающее мужу и королю, но не скрывала, что его образ жизни и поведение оскорбляют ее.

Уведомляемая о каждом новом походе мужа, увлекаемого товарищами, которые подделывались к его слабостям, королева должна была на многое смотреть сквозь пальцы. Заподозренная сама в неверности, она никогда не могла забыть этой обиды, и ее поведение, суровое

отношение ко двору, было ответом на это обвинение.

Она строила монастыри, ездила по костелам, окружала себя ханжами, строжайше преследовала всякое легкомыслие среди придворных. При таком отношении ей постоянно приходилось давать отпор Яну Казимиру, который сначала нестерпимо надоедал своим ухаживанием хорошенькой пане Дюре, потом пане Люсе и всем хорошеньким француженкам, тщетно стараясь понравиться то панне Ланжерон, то панне Дезессар.

Встречая только насмешки, Ян Казимир уходил разочарованный и раздосадованный. Он видел, что своими неудачами в значительной степени обязан королеве, и злился на нее, но эта тайная вражда, смешившая иногда Марию Людвику, никогда не выходила наружу ни с той, ни с другой стороны.

Экс-кардиналу приходилось искать вознаграждения за неудачи сначала в аристократических шляхетских кружках, под конец и в мещанских.

Никогда еще королева не размышляла так серьезно о несчастном характере Яна Казимира, с которым имела достаточно времени познакомиться, и не подвергала его такой строгой оценке, как сегодня. Ее быстрому уму трудно было сообразить, что король шведский станет и польским, хотя он

имел довольно опасного соперника в лице брата Карла.

Опасен епископ вроцлавский был деньгами, имевшимися в его распоряжении; тогда как у короля шведского не было ничего, кроме долгов.

Самая удачная элекция все же требовала больших расходов. Издавна выработались известные формы и традиции, известные выборные обычаи. Нужно было иметь много посредников, людей бедных, которым приходилось платить. На все это у Яна Казимира не было средств, тогда как Карл уже выложил более миллиона злотых на наем восьмисот солдат, которых предоставил в распоряжение Речи Посполитой, и на различные другие предвыборные махинации. И мог выложить еще больше...

С князем Карлом королева никогда не вступала в близкие отношения. Он вообще избегал женщин, а когда ему приходилось бывать у Марии Людвики, то старался держаться в стороне. Кроме того, он своим темпераментом и характером отталкивал королеву и, со своей стороны, не питал к ней симпатии.

От этого, конечно, ей не становился милее Ян Казимир с его противной наружностью, скучными манерами, пустым и несносным разговором; но Мария Людвика видела в нем человека, которого можно забрать в руки. Он отличался

бесхарактерностью и позволял водить себя за нос тем, кто, подобно Бутлеру и другим фаворитам, умел подделаться к нему.

По смерти мужа королева думала было вернуться во Францию, но тотчас сообразила, что это было бы ошибкой, отречением от будущих успехов, от которых она еще вовсе не хотела отказываться. Все ее состояние, имения, множество начатых предприятий удерживали ее здесь. Она должна была остаться и могла еще сыграть крупную роль.

Перебирая мысленно целый ряд людей, которые стояли или могли стать у кормила правления, она не находила среди них ни одного, способного господствовать над обстоятельствами. Она чувствовала себя более сильной, чем они, или по крайней мере способной бороться.

Но все это были пока только предчувствия, гадания, надежды, непроверенные соображения и мысли. Она сознавала только, что должна сохранить свою независимость, стоять в стороне и ни во что не вмешиваться, пока не представится случай занять определенное положение. Ей нетрудно было догадаться, что как король шведский (так он приказал называть себя), так и епископ вроцлавский будут стараться привлечь ее каждый на свою сторону; но в ее интересах было не брать на себя обязательств.

Это размышление прервало ее молитву; она еще стояла на коленях, но не молилась, когда заметила, что дверь чуть-чуть приотворилась, и госпожа Ланжерон заглянула в комнату. Она вопросительно взглянула на нее.

Француженка подошла на цыпочках и, став на колени перед королевой, сказала шепотом:

— Король шведский...

Брови Марии Людвики слегка нахмурились, она подумала с минуту:

— Скажи, что я кончаю молитву; и пусть его примет отец Флери; я сейчас выйду. Шепни отцу Флери, чтобы он не уходил, пока король будет у меня.

Послушная Ланжерон выскользнула из спальни, а королева, еще слабая после лихорадки, с усилием поднялась с колен и на минутку присела на кресло. Взглянула в зеркало в серебряной раме, которое показало ей бледное и грустное, но не лишенное прелести лицо.

Рассчитав время так, чтобы отец Флери успел принять короля, Мария Людовика тихонько встала, придала величественное выражение лицу и медленной походкой направилась в залу, где уже слышны были голоса короля и доктора Сорбонны.

Паж, ожидавший ее у дверей, отворил их, и она вошла.

Ян Казимир стоял с обычной кислой

физиономией, выразившей какое-то вечное разочарование после только что выяснившейся неудачи. Вообще его почти никто не видал веселым, кроме его карликов, приближенных и личных друзей. Жалоба, сарказм, насмешка всегда готовы были сорваться с его уст, и о чем бы ни заходил разговор, он сворачивал его на свою особу. Это было характерно для него.

Всегда желтое и темное лицо его с явными следами оспы и сардонически искривленными губами было на этот раз еще угрюмее, чем обыкновенно.

Королева, разумеется, предложила ему сесть первому, а затем села сама, удержав взглядом Флери, присевшего на стул в некотором отдалении.

Беспокойные манеры Яна Казимира имели ясное значение: ему хотелось отделаться от Флери и остаться с королевой с глазу на глаз, но ей этого вовсе не хотелось. Поэтому его выразительный взгляд не подействовал, и король, закусив губы и стиснув руки, в которых держал перчатки, тихо сказал:

— Я хотел узнать о здоровьи вашего королевского величества. Я сам совершенно разбит и чувствую себя плохо! Положение страны отчаянное. Торопятся с элекцией, но, по моему мнению, уже запоздали, а между тем казачество не хочет слушать ни сейма, ни панов. Только

королевское величество может быть страшным для взбунтовавшихся хлопков.

Король вздохнул и, немного помолчав, прибавил, оглянувшись:

— Говорят, — я этому верить не хотел, — будто мой брат Карл добивается короны?

Королева подтвердила это наклоением головы.

— Но это давно известно, — заметила она.

— При его взглядах это казалось мне невозможным, — сказал король несколько более живым тоном. — Нет под солнцем человека скупее Карла, никто менее его не создан для королевской власти. Он любит монашеское уединение, замыкается от людей; кто бы мог подать ему эту мысль?

Он взглянул на королеву, которая слегка пожала плечами.

— Мне кажется, он сам додумался, — возразила она, — так как вначале все говорили, что ваше королевское величество не будете добиваться этой короны.

— А я, действительно, не особенно стремлюсь к ней, — ответил он, — но наследственная шведская корона заставляет меня искать какой-нибудь опоры, силы, которая могла бы поддержать мои притязания.

Королева ничего не ответила, но взгляд ее,

вероятно, был очень выразителен, так как Ян Казимир прибавил, оправдываясь:

— Я сам не особенно надеюсь на получение шведского престола, но моя обязанность добиваться его. А это одно делает меня кандидатом...

Он не окончил и остановился, быть может, устыдившись своего лицемерия.

— Конечно, эта корона обвита терном, — сказал он, — но все же корона, а из самой страшной разрухи может, при помощи Божией, вырасти благоприятный результат. Война дает диктатуру.

Он помолчал немного, затем прибавил, понизив голос:

— Я пришел искать совета и поощрения у вашего королевского величества.

Мария Людовика покачала головой и опустила глаза.

— Ах, государь, — сказала она сухим и холодным тоном, — бедная вдова, подавленная горем, не только другим, но и себе самой помочь не сумеет. Ваше королевское величество человек набожный и можете уповать на Провидение. Оно не оставит вас.

Ян Казимир с великой горячностью заверил ее:

— Вся моя надежда на Святую Деву Марию, чудотворный образ Которой в Червенске влил

бодрость в мою душу. Я дал также обет сходить в Ченстохов.

Да, продолжал он с той же горячностью, в такое время, как наше, когда разум помутился, остается только надежда на Бога и на заступничество святых.

— Счастлив, кто может верить, — сухо перебила королева, — что заслужил их милость.

Наступило неловкое молчание, которое Ян Казимир прервал, ловко переменив тему.

— Говорят, Карл пожертвовал миллион на снаряжение восьмисот солдат для Речи Посполитой. Да, но, кроме горсточки людей, не имеющих никакого значения в Речи Посполитой, у него нет сторонников.

— Я ничего не знаю об этих вещах, — ответила королева.

— Могу перечислить его приятелей, — живо отозвался Ян Казимир. — Епископ киевский Заремба, кому он известен? Что он значит?.. Возможно, что за него будут волынский воевода князь Сангушко и князь Исидор Заславский, но это имена, а не люди; в сенате ни один из них слова молвить не сумеет, а если и молвит, то его не станут слушать. Чирский, каштелян холмский, выскочка, homo novus... а Рушковский, Иноврацлавский не лучше его. Затем Теодорик Потоцкий, подкоморий галицкий, — вот и все, да...

Горячность и обстоятельность, с какими король шведский перечислял сторонников своего соперника, показывали, что это дело занимало его гораздо сильнее, чем он хотел показать.

— Я, — прибавил он, — я бы охотно уступил ему, но меня насильно тянут знатнейшие из сенаторов. Я им говорил, что не мог бы снарядить даже восемьсот человек, которых дал Карл, тогда как он, говорят, обещается на свой счет содержать десять тысяч.

Король горько рассмеялся.

— Хотя вряд ли хватит на это доходов вроцлавского епископства, — продолжал он. — А если он будет все время так гостеприимно кормить и поить шляхту, то еще до элекции у него останутся только долги.

Ян Казимир снова переменил тему.

— Дворец на краковском предместье я хочу занять для себя, — сказал он, поглядывая на королеву.

— В таком случае Уяздовский достанется князю Карлу?

— Со зверинцем? — подхватил король. — Да ведь он не охотник! Нет, Уяздовский дворец надо будет разделить.

Мария Людовика перебила его холодным тоном:

— Прошу вас не забывать о том, что мне

следует получить один из дворцов после покойного мужа. Я не могу и не хочу оставаться в замке. Здесь много тяжелых воспоминаний; к тому же, — прибавила она, — замок королевский, и должен весь принадлежать королю.

По какому-то странному сцеплению мыслей король шведский вдруг вспомнил о любимце и после покойного короля, графе Магнусе, и сказал:

— Магнус напоминает о ста тысячах злотых, которые он ссудил Речи Посполитой, и будет приставать к нам, пока мы их не вернем.

Королева усмехнулась и заметила:

— Как и я, ведь и мне должна Речь Посполитая.

Ян Казимир спохватился, что затронул струну, которой не следовало касаться, закусил губы и, не зная, как выпутаться из затруднительного положения, обратился к молчавшему Флери.

Вопрос, который он ему предложил, касался завтрашнего богослужения в одном из местных костелов. Ксендз Флери и королева разом ответили, что они намерены присутствовать на богослужении.

Казалось, все предметы разговора были исчерпаны. Но Ян Казимир не уходил.

— Брат мой, Карл, навещает ваше королевское величество? — спросил он.

— Был у меня однажды, когда я сюда

приехала, — сухо ответила королева. — Мы не видимся с ним.

— Ваше королевское величество, — сказал Ян Казимир, подумав немного, — могли бы избавить его от напрасных хлопот, стараний, расходов, связанных с его смешными притязаниями на корону. Я бы ему не мешал и не стремился к ней, но как быть? Тянут меня! А его подбивают льстецы. Жаль мне его, право. Может быть, если б он услышал из уст вашего королевского величества...

Мария Людовика быстро перебила его:

— Государь, прошу вас, позвольте мне остаться в стороне, так как в эти дела я не хочу, не могу и не обязана вмешиваться. Горе мое отнимает у меня всякую охоту участвовать в житейских делах; мне хотелось бы только устроить как можно лучше моих французских монахинь, у которых я, может быть, потом сама найду убежище. Со времени смерти короля дела Речи Посполитой меня не касаются. Ведь я, вспомните это, только вдова.

— Но ваше королевское величество, — сказал, увлекшись, Ян Казимир, — можете через Францию, на которую имеете большое влияние, оказать содействие, кому хотите.

— Франция будет согласовать свою политику со своими интересами, — сухо ответила Мария Людовика, — а я не могу принимать в этой политике никакого участия.

Король, нахмурившись, замолчал.

— Может быть, — сказал он после непродолжительной паузы, — ваше королевское величество измените свое мнение; я буду рассчитывать на это.

Королева покачала головой, но ничего не ответила. Король встал, и Мария тоже поднялась. Последовало очень холодное прощание, затем королева сделала несколько шагов к двери, провожая гостя, и вернулась в свои покои.

Патер Флери проводил короля дальше.

— Все грустит? — спросил король.

— Как сами видели, — ответил патер. — Положение ее неопределенное, будущее неясное. Перспективы страны и вести, приходящие каждый день, не приносят успокоения. Единственное утешение ее молитва.

— И мое также! — с жаром подхватил Ян Казимир. — Но будем надеяться на Бога.

Сказав это, он нагнулся, как будто желая поцеловать руку прелата, который скромно отступил с глубоким поклоном.

В передней двое придворных ожидали короля. Тут, точно каким-то волшебством, пасмурное лицо Яна Казимира прояснилось.

— Бутлер спрашивал о вашем королевском величестве, — сказал один.

Король быстрыми шагами направился в

занимаемое им помещение, то самое, которое он занимал перед поездкой в Рим, а по возвращении снова потребовал, так что пришлось выселить из него графа Магнуса.

Но теперь, когда шведская корона готова была увенчать его голову, когда он был кандидатом на другую корону, эти скромные апартаменты казались ему невыносимыми. Он добивался пышного дворца в Краковском предместье, против чего протестовал князь Карл.

В завещании короля Владислава не было точно указано, как братья должны поделить дворцы. Яну Казимиру приходилось ждать, пока при помощи каких-нибудь посредников можно будет прийти к соглашению.

В передней встретили его два карлика — Баба и Люмп, поляк и немец, две обезьяны на цепи и пестрый попугай в клетке. Шумный спор вечно ссорившихся и дравшихся между собою злобных карликов заставил короля ударить Бабу по плечу и приказать обоим замолчать.

На пороге покоев ждал его староста Бутлер, пользовавшийся наибольшим и наиболее прочным расположением короля, вообще очень легко заводившего приятелей и расстававшегося с ними.

Бутлер обладал внешностью придворного, манерами иностранца, гибкими движениями и послушным выражением лица; все это помогало

ему подлаживаться к настроению и мыслям короля. Бутлер лучше чем кто-либо знал Яна Казимира, который делал его своим поверенным, иногда отдалял его от себя, но всегда, соскучившись по нему, снова приближал.

Это был единственный человек, перед которым он мог признаться во всех своих слабостях, не опасаясь разглашения или подвоха. Бутлер никогда не выносил сора из избы, а, напротив, не раз уже прикрывал и улаживал последствия неосторожности короля.

С очевидной радостью Ян Казимир пригласил его в свои покои.

В них отражался весь его характер. Тут не было той пышности, того аристократического блеска, которым придавал такое значение Владислав. В окружавшей короля обстановке сказывалось непостоянство его мыслей, изменчивость его вкусов. Вперемежку с бесчисленными образами и образками, распятиями и реликвиями висели женские портреты, а рядом с благочестивыми трактатами валялись фривольнейшие французские книги. Не было ни порядка, ни изящества в покоях, убранных довольно богато, но без вкуса. Собаки, обезьяны и карлики всюду оставляли следы своего бесчинства.

В спальне перед большим образом Богородицы с младенцем Иисусом, взятым из

костела в Червенске, горела лампада; король, подойдя к ней, преклонил колени и прочел краткую молитву; затем встал, запер двери и, перейдя в соседнюю комнату, сел и обратился к Бутлеру:

— Я сейчас от королевы! — сказал он, пожимая плечами. — Эта женщина для меня сфинкс. В глубоком трауре, в неутешном горе по муже, который ее не любил, и которого она не терпела, хотя и командовала им, да так командовала, что под конец его жизни ни одной должности нельзя было получить без ее согласия, за каждую приходилось ей платить. Я уверен, что она накопила огромные суммы.

Бутлер с живостью подтвердил это.

— Но хочет, по ее словам, — продолжал Казимир, — истратить их на благочестивые учреждения, и дала мне понять, что сама не прочь удалиться в какой-нибудь из своих монастырей. Говорят, будто Карл, если только... да нет, этому не бывать...

— Не бывать! — повторил Бутлер.

— Если только его выберут, готов на ней жениться, — докончил король.

— Но ведь он ненавистник женщин, — возразил староста.

— Все это говорят, — подхватил король, — но как это может быть? Это противно человеческой природе.

Он разом вздохнул и рассмеялся.

— Что до меня, — сказал он, — то мой случай особенный... я в каждой женщине вижу что-нибудь возбуждающее, в каждой. У одной лицо, глаза, у другой стан, ножка, улыбка, грудь...

Он развел руками.

— ...для того и сотворены, чтобы вводить нас в искушение. Бутлер, смеясь, поддакивал.

— Но из всех, которых я встречал, — продолжал король, поддаваясь потребности излить душу перед приятелем, — всех больше нравятся мне, Бутлер... та француженка Дюре и... и...

Он понизил голос, оглянулся и шепнул:

— ...и маршалкова.

Приложив руку к губам, он поцеловал пальцы и замолчал.

— Но ловок будет тот, — начал он снова, — кто поживится чем-нибудь при дворе королевы. Эта состарившаяся, увядшая мартышка Ланжерон стережет его, как дракон. Говорили, будто королева собирается выдать ее замуж, но теперь все отложено.

Помолчав немного, король обратился к Бутлеру.

— Ну так как же? Твои хлопоты о деньгах?

— Ничего еще утешительного не могу сказать, — отвечал фаворит, — а достать нужно во что бы то ни стало.

— Карл одурел, — продолжал Казимир, — сыплет деньгами... Он! До сих пор такой скряга! Откуда взялась у него фантазия добиваться короны наперекор мне?

— Не знаю, — ответил Бутлер, — может быть, зависть разобрала!

— Он — король! — заметил, пожимая плечами, Казимир. — Смешно и подумать.

Бутлер в угоду ему рассмеялся.

— Слышал ты что-нибудь? Есть у него какие-нибудь надежды? Опасен он? — допытывался Казимир.

— Во время элекции всякий соперник опасен, — сказал староста. — Может совсем не иметь сторонников, — и вдруг они вырастут, как грибы, на самом избирательном поле. Верно одно, что он будет нам помехой.

— Потому-то и не следует уступать, — проворчал король, — но это может дорого обойтись. Он никого не слушает.

— Мазовецкую шляхту, которую он давно кормит и поит, и других выборных, собравшихся на элекцию, — сказал Бутлер, — его придворные, Высоцкий, Чирский и другие, ублажили едой и питьем. Разослали их по поветам. Кто знает, что произойдет при голосовании? Выскочит один, гаркнет, а другие за ним...

— Что же предпринять? — проворчал

Казимир. Бутлер прошелся по комнате, размышляя.

— Придется наияснейшему пану подождать съезда сенаторов, а затем можно будет воздействовать через них на князя Карла.

— А то, что он уже истратил?.. — с беспокойством сказал король. — Все говорят уже о миллионе. Придется ему вернуть.

— А хоть бы и так! — возразил староста. — Что тут страшного. Разве не может король вытребовать в свое распоряжение пару миллионов и заткнуть ими все глотки.

— Ты хороший советник, — усмехнулся Ян Казимир, ударив его дружески по плечу.

Разговор о серьезных делах уже утомил его. Вообще он умел только либо молиться, либо балагурить.

— Слушай-ка, Бутлер, ты ведь все знаешь... Говорят, будто Гижанка выходит замуж за шляхтича. Знаешь, хорошенькая Гижанка, дочь бургомистра, за которой тут все увивались. Покойный Владислав усердно ухаживал за ней; видно, считал себя наследником после Сигизмунда Августа, который первый соблазнил Гижанку. Но у него не было верных помощников: Пац и Платенберг только водили его за нос да прятали деньги в карман; так он и не добился ничего от Гижанки.

— Но ведь и панна Ланжерон, — заметил

Бутлер, который видел, как она мешает Казимиру, — тоже, вероятно, имеет какого-нибудь жениха-шляхтича.

— Что ты говоришь? — воскликнул король. — Да я бы готов был протанцевать гавот на ее свадьбе.

— Ба, — отозвался Бутлер, — ее заменит Дезессар либо другая.

— И то правда, — угрюмо согласился Казимир. — Двор королевы настоящий монастырь. За малейшее легкомыслие она отсылает во Францию, а шпионы у нее зоркие.

— Королева? — подхватил Бутлер, подойдя поближе к сидевшему королю. — Королева? А ведь я хотел поговорить о ней. Вашему королевскому величеству надо постараться привлечь ее на свою сторону. Может быть, она станет говорить, будто ни во что не вмешивается, но у нее есть связи, есть приверженцы, которыми она умеет вертеть, так что без нее или, чего Боже сохрани, наперекор ей мы ничего не добьемся, а с нею нам будет в тысячу раз легче.

— Ба! — возразил Казимир. — Неужели ты думаешь, что я не понимаю этого. Женщина разумная и хитрая; при покойнике никогда не хвасталась своей силой; напротив, выставляла напоказ свою покорность, а на деле вертела всеми, делала, что хотела, и король без нее шагу ступить

не мог.

— Это так, — сказал Бутлер, — но разум разумом, а и то много значило, что у нее одной всегда имелись деньги.

— И теперь есть, хотя она и строит монастыри, — заметил король.

— А не могла бы она нам ссудить? — спросил фаворит.

— Неудобно ее просить об этом! — вздохнул Ян Казимир. — Ежели мне поможет, то и меня заберет в руки. Я попросту боюсь ее, да, боюсь, — повторил он, понизив голос.

— А если она примет сторону князя Карла? — заметил Бутлер.

— Не может этого быть! — сказал Казимир.

— Ваше королевское величество верите, — продолжал фаворит, — что она, как говорила, останется в стороне и не будет ни во что вмешиваться?

Бутлер рассмеялся, и прибавил:

— Это невероятно. Если б даже сама не хотела — должна будет вмешаться; и тут видно станет, к кому она питает симпатию.

— Ко мне она никогда не питала ее, — проворчал король.

— Потому что ее интересы не требовали этого, а теперь...

— Что же теперь? — спросил Казимир, бросая

взгляд на Бутлера, — что ты хочешь сказать?

— А то, что ставши королем, наияснейший пан может позаботиться и о монастырях, и о вдовьей части, и обо всем, что интересуется королеву; она же, со своей стороны...

— А я тебе опять скажу, Бутлер, — быстро перебил король, — что я ее боюсь; она заберет меня в руки! Это женщина хитрая, смелая и умная.

— Оттого-то мы и нуждаемся в ней, — настаивал Бутлер. — Одним словом, вот что я скажу: если князь Карл привлечет ее на свою сторону, не помогут нам все сенаторы, сколько их есть.

— За меня Оссолинский, — возразил король, — не сомневаюсь также и в Казановском.

— Который теперь не имеет никакого значения, — перебил Бутлер.

Казимир опустил голову. Наступило продолжительное молчание; староста следил за хорошо знакомыми ему чертами короля, не считавшего нужным скрывать перед ним своего настроения.

Совет, данный Бутлером, по-видимому, произвел на него впечатление, так как, немного погодя, он поднял голову и сказал, как бы заканчивая разговор.

— Опять-таки скажу, Бутлер, — боюсь я ее! Если нас свяжет хоть тоненькая ниточка, она

притянет меня и завладеет мною. Владислав был посильнее меня, да! — а в конце концов она им вертела, как ей хотелось.

— Я остаюсь при своем мнении, — ответил староста, или она будет за ваше королевское величество, и в таком случае наша взяла; или против вас — и тогда я ни за что не ручаюсь. Чтоб Мария Людвика стала сидеть, сложив руки!.. — Бутлер энергически тряхнул головою.

Беседа кончилась.

III

На другой день, после ранней обедни у Святого Яна, король, которому сообщили, что его брат Карл получил какие-то письма из Швеции, откуда ждал поддержки, только что вернулся домой пасмурный и хилый, как вдруг услышал в передней громкий спор и пискливый, визгливый, хорошо знакомый ему женский голос. От этого выражение его лица не сделалось более приятным; он хлопнул в ладоши, и когда вошел слуга, спросил его:

— Это Бертони?

Слуга отвечал утвердительно.

— Скажи ей, — нетерпеливо продолжал король, — раз навсегда, что я не могу принимать ее в этот час. Пусть придет вечером. Сейчас я жду нескольких важных особ. Недостает только, чтобы

эту дрянью, эту мартышку застали у меня!
Выпроводить ее, выпроводить!

— Не так-то это легко! — проворчал слуга. — Она такой гвалт поднимет, что по всему замку услышат.

Не желая слушать возражений, король вытолкал слугу за дверь и, захлопнув ее за ним, остался подле, прислушиваясь, будет ли исполнено его приказание.

По уходе слуги шум и крики в передней, сопровождаемые хохотом прислуги, сначала усилились, потом стали затихать, двери передней с треском захлопнулись, и когда король выглянул, назойливой женщины, которую он велел выпроводить, уже не было.

Кто была эта Бертони — было известно всем, знакомым с жизнью дворца. Теперь ей перевалило уже за пятьдесят, а когда королевичи подрастали, панна Саломея, дочь музыканта королевской капеллы, была очень веселой и ветреной девчонкой, а так как Ян Казимир с юных лет питал сильнейшее влечение к женщинам, то хотя Саломея была вовсе не красива, а только свежа, смела, задорна и кокетлива, она успела вскружить ему голову и постаралась забрать его в руки.

О его амурах с Салюсей было известно всему двору; одни старались разорвать эту связь, другие покрывали ее, а в конце концов все махнули на нее

рукой. Это была первая любовь королевича, имевшего потом бесчисленное множество таких беспутных связей, но Саломея не позволила себя прогнать или совершенно забыть; она сознавала, что имеет некоторые права, и не отступалась от них. Потом она вышла замуж за итальянца, кларнетиста в королевской капелле, и овдовела, оставшись с одной дочкой.

Она не могла, конечно, сопровождать Яна Казимира в его путешествиях, ни разделить его заточение, но вообще не спускала с него глаз, и всякий раз, как он возвращался, этот грех молодости вставал перед ним, и никакая человеческая сила не могла его отогнать.

Надо было знать эту итальянку, чтоб понять ту силу, с какою она умела втереться всюду. Она не боялась никого и ничего, а ее длинного языка боялись все. Воспитанная при дворе, она знала и видела все его тайны, все его слабости, и умела пользоваться ими. Дерзость ее не имела себе равной; туда, где сама пристойность не позволяла ей бывать, она шла нарочно, чтоб ей заплатили за уход.

От Яна Казимира, как говорили, она сумела вытянуть значительные суммы; досталось ей кое-что и после мужа; потом она торговала женскими нарядами и драгоценностями, и в конце концов обзавелась красивым каменным домом на

рынке Старого Города; говорили, что у ней, кроме того, водятся и деньжонки, но в этом она не признавалась. Это не мешало ей при каждом новом приезде Яна Казимира выпрашивать подачки для дочери.

Для этой дочери, красивой девушки, которая была в ее глазах восьмым чудом света, она жила теперь. Ради нее несколько остепенилась, тогда как раньше вела жизнь очень веселую и вольную. О своих пятидесяти годах Бертони знать не хотела и делала себя смешною нарядами, воображая, что они молодят ее.

Черная, худая, с морщинистым лицом, она сохранила только красивые огненные глаза. Огромный рот с толстыми губами, отвислые щеки, редкие крашенные волосы, крашенные брови, губы, щеки делали ее иногда просто отталкивающей.

Забываясь в гневе, она не умела скрыть остатки своих желтых зубов, а морщины при этом выступали еще резче. На тощей шее жилы, кости, мускулы — все выдавалось точно на анатомическом препарате.

Безобразие, если б она умела примириться с ним, быть может, не было бы так ужасно, но Саломея упорно хотела казаться молодой и красивой. Носила изысканные костюмы и украшалась драгоценностями, любуясь ими, как настоящая итальянка. Ее худые, с распухшими

суставами пальцы были унизаны кольцами, шея обвита жемчугом и ожерельями. На груди дорогие брошки, роскошный пояс, даже башмаки и чулки носила шитые золотом, а волосы старательно завивала. Рядом с этой роскошью отталкивало то, что она не умывалась по нескольку дней, а старые и новые краски покрывали лицо точно скорлупой.

Когда она проходила по улице, на нее показывали пальцами, так она была смешна, но сама она так освоилась в зеркале со своей физиономией, что находила ее очень недурной, и улыбалась мужчинам (когда подле нее не было дочери) с цинизмом, вызывавшим краску на их лицах.

Дочка ее, Бианка, имела итальянской тип лица, и была хороша собой, хотя несколько напоминала мать. Благородные, правильные черты лица, в соединении с прелестью и свежестью молодости, делали ее очаровательной.

Мать воспитывала ее с чрезвычайным старанием, с детства учила музыке, танцам, языкам, так как рассчитывала на блестящую будущность для нее.

— Сенатору не сделает стыда, — говорила она, — ни лицом, ни головой. Другой такой не найдешь ни в Варшаве, ни в Кракове. Ежели Гижанка выходит за шляхтича, то что же сказать о моей? А без приданого не останется, потому что

каменный дом чего-нибудь стоит, и под подушку найдем, что положить!

В то же время, зная по собственному богатому опыту, как легко молодость сбивается с пути, она берегла дочку, как зеницу ока. Редко даже позволяла ей выходить в город, и не иначе, как с собой.

Уходя из дома, Бертони оставляла на страже настоящего Цербера, старуху итальянку. Та, опасаясь потерять кусок хлеба, ни на шаг не отходила от хорошенькой Бианки, слава которой уже далеко распространилась.

По возвращении экс-кардинала из Рима, расставшийся с духовным званием королевич был еще в Торчине, когда Бертони явилась к нему, нарочно приехав туда. Приятна ли ему была эта гостья, трудно сказать, но пришлось принять ее, и Саломея оставалась у него целый день, высыпая огромный ворох сплетен, которые привезла с собой. Вероятно, она ожидала от королевича больше, чем он мог и хотел сделать для нее, так как, в общем, осталась недовольной его приемом.

Ян Казимир тщетно ссылался на то, что у него ничего нет, что ему пришлось бы отбирать у князя Карла, у Денгофа, у Бутлера пожалованные им королем имения: Саломея не хотела ничего слушать и упрекала его.

Какие права она предъявляла на его

благодарность, нельзя было понять из ее слов, но она твердо была уверена, что Ян Казимир обязан всю жизнь заботиться о ней и ее дочери.

Их отношения до смерти Владислава IV, хоть и не порывались, но были довольно натянутые. Ян Казимир часто приказывал запираить перед ней двери и не пускать ее, хоть она и поднимала невыносимый шум.

Когда умерли сначала королевич Сигизмунд, а потом и Владислав, Бертони с неслыханным нахальством принялась добиваться свидания с королем шведским, который старался не допускать ее до себя. В конце концов, однако, ему пришлось уступить: он приказал принять ее, соображая, что и Бертони может повредить или помочь при выборах.

Вечером того же дня, несмотря на отвращение и недоверие, он приказал слугам впустить несносную бабу, и пока она будет у него не принимать никого, кроме Бутлера, которому вход был открыт всегда.

Бертони не считалась с назначенным часом. Она ворвалась с великим шумом, разряженная в пух и прах, вся сияющая драгоценностями, раздраженная, взбудораженная.

Слуга указал ей дверь в приемную.

Ян Казимир беспокойно прохаживался взад и вперед, в ожидании своей мучительницы. Он знал, что ему предстоит, так как Бертони не уважала в

нем ни происхождения, ни достоинства. Ведь она знала его с детства и не видела нужды церемониться с ним.

— Ага! — начала она уже на пороге по-итальянски, так как знала его отвращение к польскому языку. — Ага! Наконец-то Саломея добилась чести поздравить ваше королевского величество! Долго же ей пришлось ждать!

Король хотел объясниться; но она не дала ему говорить.

— Полно, не трудись, ведь мы друг друга знаем! Она низко присела перед ним.

— Уже король шведский? Не правда ли? — начала она смеясь. Нет, той короны для вашей милости я не боюсь, но говорят, будто вы добиваетесь и польской? А? — Монахом быть не могли, кардиналом не хотели, а теперь короны добиваетесь? Думаете, ее будет легче носить, чем кардинальский пурпур? Мне просто жутко стало, когда я услышала об этом. И на что вам она? Знаете, что вы делаете? Покупаете горящий дом, не имея капли воды, чтоб угасить пожар. Побойтесь вы Бога.

Она всплеснула руками.

— Нет, я... но... — начал король нерешительно.

— Знаю, что вы скажете, — перебила Бертони. — Что вас на коленях о том просить

будут! Конечно! Рады будут возложить на ваши плечи это блестящее, золоченое бремя; но оно не для вас, не для вас! Уступите князю, вытребуйте себе достаточную часть, постройте королевский дворец, в котором нашлось бы местечко и для Бертони с ее ангелочком, но вам!.. Вам!.. Вам быть королем!

Она прыснула от смеха. Темное лицо Яна Казимира побагровело; он рассердился, что-то забормотал, не мог слова выговорить от досады.

— Вам быть королем! — повторила Бертони, вертясь, изгибаясь и жестикулируя. — Вам быть королем! Год-два кое-как вытерпите, а потом? Так же сложите корону, как сложили кардинальскую мантию!

Ян Казимир отвернулся, как будто хотел бежать от нее, но она не отставала.

— Не гневайтесь, — трещала она. — Я говорю от доброго сердца, вам корона ни к чему, только измучаетесь.

Она ударила себя в тощую грудь, смело глядя огненными глазами на смущенного короля.

Ян Казимир собирался что-то ответить, но итальянка снова затрещала:

— Хотите, предскажу вам будущее? Это очень легко: вас выберут, так как видят, что с вами можно будет сделать, что им заблагорассудится, им и королеве.

— Какой королеве? — перебил Ян Казимир.

— Сегодняшней вдове, а завтра, быть может... кто знает? Она рассмеялась, и прибавила:

— Без ее денег и ее ума вы ничего не добьетесь.

— Она ни о чем слышать не хочет, — возразил король.

— Чтоб заставить себя просить, натурально, — сказала Бертони. — Эх, жаль мне вас. Пане мой, жаль мне вас! Уступите князю Карлу, если ему это улыбается. Вы не для того созданы, а могли бы устроить себе такую славную, спокойную жизнь.

Она развела руками.

— Правда, уговаривать вас бесполезно: не поможет! Вам суждено все испытать, чтобы все вам опротивело.

Успокоившись немного, король, оглушенный этим потоком слов, отер лоб и сел. Бертони стояла перед ним.

— Так это неизбежно? — сказала она.

Ян Казимир помолчал немного.

— С тобой сегодня невозможно разговаривать, — проворчал он. На лице итальянки как будто мелькнуло сожаление.

— Но я должна была сказать вам это, — отвечала она более мягким тоном. — Для меня-то ведь выгодно, если вас королем выберут. Тогда и на

мою долю что-нибудь достанется.

Ян Казимир, по-видимому, желая перевести разговор на более приятную тему, сказал с усмешкой:

— Ты бы хоть Бианку с собой привела.

Бертони дрогнула от гнева.

— Еще чего! — крикнула она. — Разве я не знаю, что у вас, старого вертопраха, до сих пор молоденькие девчонки в голове. Но ведь то моя дочка, ты должен ее уважать.

— Говорят, очень хороша собой! — заметил король.

— Как ангел! — с одушевлением подтвердила мать. — Это сенаторский кусочек, и я выдам ее только за сенатора.

Ян Казимир засмеялся, а Бертони рассердилась.

— Гижанка выходит замуж за шляхтича, какого-то старосту: почему ж бы моей дочери не метить выше? Я ее так воспитала, что ни одна ваша знатная панна ей в подметки не годится.

Король задумался, по-видимому, уже не слушая ее, увлеченный другими мыслями. Помолчав немного, он сказал:

— Попроси вдовствующую королеву принять ее в свой двор. За паннами у нее строгий присмотр, а научиться там можно многому.

— Да, научиться тому, чего и знать не

следует, — перебила Бертони, качая головой. — Нет-нет, я ее от себя и на шаг не отпущу.

Итальянка, с бесцеремонностью старой приятельницы, принялась расхаживать по комнате.

— Что это за карлики? — спросила она. — Я их не знаю... Да и обезьяны не те?

— Все поумирали, — вздохнул король. — Представь себе, Зноосен, которого я так любил, который так потешно кувыркался и пел, — умер, бедняжка. Микрош тоже. Теперь у меня двое. Одного подарил мне Любомирский, он зовется Баба — с виду толстощекий, но хворый, плакса и унылый, а Люмп, которого я достал от немцев, злючка; вечно дерется с обезьянами и с Бабой. Утешения от них никакого. После короля остались два карлика, но королева их, конечно, присвоила.

Король с грустью закончил это сообщение, а Бертони пожала плечами.

— Двор мой вообще, — продолжал король после некоторого молчания, — жалкий и неполный. Вернувшись, я брал первых встречных, да и денег не хватает. Рассчитывал здесь достать, а оказывается, с меня требуют за выкуп моей аренды. С Карлом из-за Живеца мука, с Денгофом, с Бутлером...

Он вздохнул и прибавил, разводя руками:

— А теперь, когда на элекцию требуется...

Бертони съежилась и снова принялась бегать

по комнате, хватая все, что под руку попадет, книги, корзины, четки, даже бумаги, не спрашивая, можно ли их читать. С нахальным любопытством шарила по углам, и хотя король выказывал очевидные признаки нетерпения, это на нее не действовало.

— Мне здесь тесно, — сказал он, немного погодя. — Хотел поместиться во дворце на Краковском предместье, да Карл не пускает. А в Уяздове далеко.

— Да на что все это, когда до элекции вам не дадут покоя, — перебила Бертони, — а после нее поселитесь в замке?

— Королева занимает там половину! — проворчал Ян Казимир.

— С ней-то вы поладите, — засмеялась итальянка, подойдя к нему. — Я уверена, что когда вам возложат на голову корону, то сенаторы сосватают вам королеву.

Ян Казимир вскочил.

— Да я ее не хочу! — крикнул он. — Мало разве упрекали нашего отца за то, что женился на сестре своей покойной жены, а что же будет, если я женюсь на жене брата. Скажут, это Содом и Гоморра.

— А папа на что? — заметила Бертони.

— Я не хочу ее! — решительно повторил король и замолчал. В ту минуту начали бить часы,

стоявшие на столе, устроенные так искусно, что во время боя на них появлялись трубачи, и раздавалась очень мелодичная музыка.

— У тебя есть какое-нибудь дело до меня? — спросил король.

— Как не быть! — ответила итальянка. — Нехорошо вы поступаете, забывая обо мне и моей дочке. Но мне жаль короля без королевства. Потом сочтемся. Вижу, что вы не перестанете добиваться короны, но ручаюсь головой, что потом сами сложите ее с себя.

Король ничего не ответил. Бертони низко поклонилась и хотела уйти, но вдруг спохватилась.

— Милостивый король, — затрещала она, — не затворяйте передо мной дверей, как перед какой-нибудь бродягой. Я ведь тоже могу при случае пригодиться, потому что больше знаю и больше могу наплести, где потребуется, чем всякий другой. Уж если хотите быть королем, то кому и помогать вам, если не мне.

Наконец, король отделался от нее. Проводив ее глазами, он сказал самому себе:

«Это тебе за старые грехи. Будешь нести наказание до конца дней своих, а отделаться от него... невозможно».

В грустном настроении, пройдясь раза два по пустым покоем, Ян Казимир бросил взгляд на лампаду перед чудотворным образом и быстро

подошел к нему, желая стать на молитву.

Но между карлами и обезьянами поднялась в передней такая свара, что он должен был сначала позвать слуг и приказать им унять их.

Не успел он преклонить колени, как чьи-то быстрые шаги, и отворившаяся без уведомления дверь заставили его встать. Бутлер, которого он уже не ждал сегодня, и молодой Тизепгауз вбежали в комнату с расстроенными лицами.

Ян Казимир побледнел, увидев их.

— Государь, — крикнул с порога староста, — вести одна хуже другой из Львова, Замостья... отовсюду... Вестники скорби... Войска наши разбиты, шляхта постыдно бежала... Хмель ⁴ собирается идти на Краков... наших послов держит в плену, а троих приказал казнить... о перемирии и переговорах слышать не хочет.

Король закрыл глаза, потом заломил руки.

— Сначала на колени! — воскликнул он. — На колени... прочтем литанию Святой Деве... будет молить ее о помощи, а остальное потом.

Он бросился на колени перед образом, и начал читать по-латыни литанию, а Бутлер и Тизенгауз отвечали; затем он поцеловал пол и встал с полными слез глазами.

⁴ Хмельницкий.

— Говорите, — сказал он, падая в кресло.

— Поражение бы еще ничего, — начал староста, — но позор... Шляхта, не вступая в бой, поддавшись страху перед холопами, бежала с поля боя; а шла она на войну с огромным обозом, со множеством скарба, серебра, драгоценностей — и все это досталось в добычу казакам и посполитству. Пленных отдавали татарам — человека за коня. Мириться уже не хотят. Стали под Замостьем... Львов каким-то чудом откупился... Что теперь будет... Грозят всю Речь Посполитую завоевать.

Король возмутился.

— Где же наши силы? Где мужество, гетманы, сенат, войско? Не может же один такой разгром сразу уничтожить государство!.. Есть шансы на спасение... Мы можем найти союзников...

Бутлер перебил его:

— Кого, наияснейший пан? На кесаря именно теперь не можем рассчитывать... Франция за тридевять земель, хоть бы и захотела помочь... Прусский наш вассал скорее попользуется нашим несчастьем, а шведы...

Король схватился за голову.

— О злая судьба нашей родины! — воскликнул он. — Дошли до такой крайности, что только на подлых татар можем надеяться, если удастся отвлечь их от казаков.

— Такой союз хуже вражды, потому что

срамное дело, — грустно сказал Бутлер.

Тизенгауз начал передавать подробности полученных известий, когда раздался стук в дверь, хотя час был необычайный. Тизенгауз побежал отворить и впустил ксендза Флери, капеллана королевы.

Вошедший был бледен и встревожен.

— Правда ли это? — спросил он, обращаясь к королю. — Правда ли? Королеве доложили, что даже Кракову и Варшаве грозит опасность... Она поручила мне спросить об этом у вашего королевского величества.

Бутлер вмешался прежде, чем король собрался ответить.

— Успокойте королеву, — сказал он. — Варшаве пока ничего не грозит. Сенаторы и шляхта собираются на выборы... неприятель не осмелится напасть на столицу... он знает, что тут собраны большие силы. Поражение, по всем известиям, тяжелое, но кто не знает, в таких случаях, как говорится, у страха глаза велики. Хмель не решился напасть на Львов, как же он решится идти на Краков или Варшаву?

Король тоже обратился к Флери.

— Успокойте королеву, — сказал он.

— Но если грозит какая-нибудь опасность, то

королева может уехать со своим двором в Гданьск⁵, где может быть совершенно спокойной.

— Не дай Бог, чтобы мы дошли до такой крайности, — возразил Казимир.

Поговорив еще немного, духовник Марии Людвиги ушел, но тревога царила в замке всю ночь.

В гостинице князя Карла над Вислой, несмотря на ненастье и позднюю пору, толчея не прекращалась... одни уходили, другие приходили, и каждый приносил вести одна другой страшнее. Сообщения о бесчинствах и дерзости казаков и соединившейся с ними черни превосходили всякое вероятие. Возмущались шляхтой, бежавшей из-под Пилавец.

— В старые времена таким посылали кудель да заячью шкурку, — говорили одни, — и трусы вешались сами, потому-то жены с ними жить не хотели и домой не принимали, а теперь на них ни кудели, ни зайцев не хватит.

Другие судили мягче и снисходительнее:

— Нам легко судить издали, но раз наступила паника, нужно быть на месте, чтоб видеть, устоит ли человек, хотя бы и хотел того, против общего настроения...

— Пришел последний час, — вздыхали

⁵ Данциг.

испуганные.

— Остается нам только откупиться от казачества, заключить мир и постараться восстановить наше войско.

— Первое дело, чтоб гетманы и паны не ссорились друг с другом, — говорили некоторые, — все оттого и вышло, что Иеремию не хотели слушать... Он у них, как бельмо на глазу, а казаки только его и боятся.

В этом гвалте и шуме в конце концов ничего толком нельзя было разобрать; раздавались только проклятия и жалобы; пили до утра, но от этого только окончательно теряли голову.

Не лучше было в городе, куда приходили известия из замка, разраставшиеся по дороге. Сенаторы в тревоге приезжали из разных мест раньше срока, назначенного для элекции, но не привозили с собой успокоения.

Собирались вокруг Оссолинского, являлись к королеве, иные навещали Казимира. Очень немногие сближались с князем Карлом, которому трудно было теперь завязать сношения, после того как он так долго и упорно избегал их.

Все в один голос говорили о необходимости ускорить элекцию, которая являлась необходимым условием вступления в какие бы то ни было переговоры с казаками. С каждым днем число съехавшихся сенаторов возрастало, духовные

собирались у приехавших епископов, в монастырях иезуитов, бернардинов и реформатов.

Духовенство предвидело, что, пользуясь поражениями и слабостью государства, диссиденты, с одной стороны, русские, противники унии, с другой, не преминут поднять голову. Раздавались уже голоса, что Хмель добивается отмены Брестской унии и хочет посадить в сенате своего митрополита.

Некоторые из сенаторов, как Адам Кисель и другие греко-восточного исповедания, отказавшиеся присоединиться к унии, поговаривали:

— Почему бы нам не пользоваться такими же правами, как диссиденты и католики, если мы будем верно служить Речи Посполитой?

Хотя королева, не вмешивавшаяся открыто в государственные дела, ни с кем не говорила о них, а только поручала себя и свое сиротство покровительству Речи Посполитой — но все знали, что она может оказать огромное влияние на выборы. Ее указаниям должны были следовать французский двор и Рим.

Не было тайной, что со времени смерти короля, гонцы, послы и письма беспрестанно посылались во Францию, и даже из тех лиц, которые были особенно необходимы для королевы, многие отправились туда.

При всем том Мария Людвика оставалась с виду равнодушной и покорной судьбе и не выдавала себя ни единым словом.

Так как князь Карл был у нее редким гостем, то и для шведского короля, чаще навещавшегося к ней, не всегда открывались двери. Королева остерегалась оказывать предпочтение тому или другому.

Ян Казимир через своих приближенных знал обо всем, что делалось у королевы и было известно придворным, и беспокоился, волновался, тревожился. Особенно смущало его то, что все сенаторы относились к Марии Людвике с величайшим почтением, постоянно бывали у нее. Важнейшие из них проводили целые часы в беседах с нею, иногда, как бы случайно, сходились двое-трое разом.

— Очевидно, там происходят *conciliabula*⁶, — говорил король Бутлеру, — но ничего не выходит наружу. И я, когда мне удастся добраться до королевы, ничего не могу добиться от нее. Уверяет меня, будто ни во что не хочет вмешиваться.

— Наияснейший пан, — сказал староста, —

⁶ Совещания.

clara pacta⁷ наилучшая вещь: вашему королевскому величеству необходимо откровенно столкнуться с королевой.

— Сто раз пробовал; но она уверяет, что ни о чем не думает, кроме обеспечения собственной участи.

Он пожал плечами.

— Ежели Карл сумеет привлечь ее на свою сторону, она станет втайне помогать ему, то его деньги да ее влияние отнимут у меня корону и останется мне только стыд, что понапрасну хлопотал.

По соглашению с королем, Бутлер, пользовавшийся его полным доверием, отправился на другой день к князю Карлу в такое время, когда двери его дворца были открыты для посетителей.

Собственно говоря, его дворец не мог назваться особым зданием, так как примыкал к замку со стороны Вислы. Сам епископ вроцлавский построил его, но так как он был очень бережлив, то в его апартаментах не было такого пышного убранства, статуй, картин, как во дворцах Казановских и Оссолинских. Только образцовая чистота и порядок придавали им достойный вид.

Хотя Бутлер был знаком с князем Карлом, но

⁷ Ясный договор.

еще никогда не бывал у него. На этот раз гостей оказалось столько, что староста не сразу мог добраться до епископа. Однако, по взглядам, которые Карл бросал на него, Бутлер догадался, что его появление не осталось незамеченным. Разговор, естественно, шел о грозных вестях, тревоживших всю страну. Князь Карл не упускал случая напомнить, что он уже поставил солдат для защиты края и намерен поставить еще больше. Продолжая поддерживать разговор, епископ подошел к Бутлеру и вполголоса спросил, не с поручением ли он явился к нему.

— Поручения у меня нет, — сказал староста, — но вашей княжеской милости известно, что я слуга короля шведского и всем сердцем предан ему; мудрено ли, что я явился узнать, намерена ли ваша княжеская милость продолжать добиваться короны?

— Это всем известно, — сухо и коротко ответил князь Карл. — Знаю, что соперничество с королем для меня не легко, но за меня часть сенаторов.

— Печальное то будет соперничество, — заметил Бутлер.

— Пусть Казимир скажет это самому себе, — возразил князь. — Я долго колебался; убедили меня тем, что в виду непостоянного образа мыслей Карла, на него нельзя положиться. Я дал свое

согласие — и назад не попячусь...

Он пристально посмотрел на старосту и еще раз повторил:

— Да, назад не попячусь!..

— Король шведский, раз он согласился внести свое имя в список кандидатов, тоже не побоится... никого.

Неразговорчивый епископ, по-видимому, не собирался ответить. Он стоял, как будто ожидая, не скажет ли Бутлер еще что-нибудь.

— Если король хотел узнать через вас, — прибавил он после тщетного ожидания, не поколебался ли я, то можете его заверить, что я долго обдумываю свои решения, но, выбрав дорогу, уже не сворачиваю с нее.

— Ваша княжеская милость позволит, однако, мне заметить, что в этом деле имеются особенные обстоятельства, — решился возразить Бутлер. — Не было до сих пор примера, чтобы родные братья спорили о короне. В мирное, спокойное время оно бы еще куда ни шло, хотя семейные раздоры всегда достойны сожаления; но теперь, когда угрожают такие беды, когда неприятель разрывает внутренности страны... когда прежде всего требуются согласие и единодушие...

Епископ слегка пожал плечами.

— Осмелюсь также прибавить — потому что правда не грех, — что ваша княжеская милость

никогда не учились рыцарскому ремеслу, а нам нужен гетман и вождь.

— Почтенный староста, — с гневом ответил епископ, — поверьте, что я сумею сесть на коня... а король шведский тоже еще ни разу не показал себя богатырем.

Сказав это, князь Карл, как бы опасаясь еще сильнейшей вспышки, кивнул головой Бутлеру и отошел от него.

Староста, которому больше нечего было здесь делать, направился к дверям, оставляя епископа с горстью приверженцев, по большей части людей малоизвестных и не имевших никакого влияния.

— Наияснейший пан, — сказал он, входя к Казимиру, — нечего рассчитывать на то, что епископ раздумает и уступит. Я говорил с ним: упорствует на своем.

— Значит война! — воскликнул король. — Горько мне это, но так было с детства: мы были друзья с Александром — упокой Господи его душу, — а Карл всегда был мне врагом.

IV

Одним из самых могущественных и влиятельных вельмож при Сигизмунде и двух его преемниках был Станислав Альбрехт Радзивилл, который уже при Владиславе IV и по сану, и по

значению занимал первое место в народе и сенате.

Всматриваясь в состав тогдашнего польского общества, легко заметить в верхних его слоях две различные группы. Еще со времени Казимира Ягеллончика, а может быть, и раньше, шляхетско-панский польский мир делился на эти два лагеря, если можно так выразиться.

Один из них воспитывался и вырастал в обычаях родины и носил на себе отпечаток традиций, старых обычаев, достоинств и недостатков, связанных с ними. Другой, получив первую подготовку дома, кончал воспитание и образование за границей. Дополнением служили путешествия, пребывание при дворах европейских монахов, ознакомление с европейскими языками и отношениями.

Все знатнейшие семьи отправляли своих сыновей в Италию, Францию, Германию, к царскому двору, и из этих воспитанников Запада состоял в наибольшей части сенат и избранное общество, окружавшее королей.

Многие из этих космополитически настроенных панов носили иностранную одежду, набирались иноземного духа и пренебрегали старинными обычаями, но многочисленные путешествия и осведомленность доставляли им влияние в Польше. По возвращении домой, родной очаг, польские матроны, атмосфера, пропитанная

традицией, — все, что окружало их в детстве, особенно шляхта, с которой им приходилось иметь дело, будили в них воспоминания молодости, и космополит, отбросив занятое в чужих землях, становился верным сыном родины.

Из таких-то людей, умевших объясняться как с иностранными послами, так и с деревенской шляхтой, состоял при Сигизмунде и его сыновьях сенат, с небольшой примесью доморожденных важных статистов.

Альбрехт Станислав Радзивилл был одним из самых выдающихся представителей европейской и польской цивилизации. Не выступая внешне с таким блеском, как Юрий Оссолинский, он не уступал ему в значении и силе, и во многих случаях доверенный министр Владислава IV, оказывавший, по-видимому, огромное влияние на его политику, должен был уступать Альбрехту Радзивиллу.

В критический момент, когда готова была возгореться война с Турцией, Речь Посполитая была обязана влиянию Радзивилла предотвращением войны. Он удержал Оссолинского, а потом и самого короля. Быть может, Владислав IV и недолюбливал его, но никогда этого не показывал, а само значение канцлера литовского в момент смерти короля показывало, какой дороги ему держаться во время безкоролевья.

Его обширные владения на Волыни и на Руси в самом начале войны с казаками были опустошены, что причинило ему огромные потери. Но канцлер относился к ним со стоическим спокойствием, готовый, как он говорил, истратить все, до последней рубашки, на защиту Речи Посполитой.

Быть может, ни один из сенаторов не характеризовал с такою откровенностью положения, не разъяснял обязанностей, которые оно налагало, не раскрывал причин, приведших к восстанию холопов на Руси.

После позорной катастрофы под Пилавцами Радзивилл откровенно высказался:

«Бог предал их, Господь их погубил; потому что их спесь, лихоимство, притеснение и угнетение убогих вопияли против них!».

Никто не потрудился больше него для собирания новых сил и одобрения упавших духом; никто не был готов к таким жертвам для отечества. Пример его заражал и других.

Получив известие о пилавецком разгроме на пути в Варшаву, канцлер приехал в нее с одним пламенным желанием ускорить выборы, так как хорошо понимал, что казаки скорее вступят в переговоры с королем, чем с ненавистной им Речью Посполитой.

Память о Сигизмунде III, которому он был

обязан всем — так как король был его опекуном в детстве и первый сумел оценить его, не позволяла Радзивиллу и подумать о другом короле, кроме одного из его сыновей. Ему предстоял выбор между Карлом и Казимиром.

Не может быть сомнения в том, что Радзивилл хорошо знал характер, склонности, недостатки короля шведского, равно как и князя Карла. Последний, быть может, во многих отношениях имел преимущество в его глазах; но при существующих обстоятельствах Польша требовала, если не вождя и гетмана, то во всяком случае человека, который умел бы сесть на коня. Князь Карл таким не был; его знали только за очень набожного священника.

Сам чрезвычайно набожный и усердный в исполнении религиозных обязанностей, канцлер должен был высоко ценить епископа, но Казимир был не менее набожным, а в других отношениях казался более способным для исполнения королевских обязанностей.

Итак, Радзивилл приехал в Варшаву с готовым решением поддерживать Казимира, а епископа убеждать, чтобы отказался от притязаний, не разбивал голосов и не тормозил выборов.

Оставалось только повидаться и поговорить с королевой, которую князь Альбрехт научился ценить, и влияние которой было ему известно.

Со времени своего первого знакомства с Марией Людвигой на польской земле, под Гданьском, Радзивилл, который встретил и провожал ее в Варшаву, старался сблизиться ней, снискать ее доверие и завязать постоянные отношения. Он и вторая жена его, из рода Любомирских, стали всех ближе к Марии Людвиго. Тотчас по прибытии в Варшаву, прежде даже чем повидался с Яном Казимиром, канцлер поехал к королеве, которая с нетерпением ожидала его. С ним одним она могла быть вполне откровенна.

Как только ей сообщили о прибытии канцлера, королева поспешила в приемную, не взяв с собой никого, ни ксендза Флери, ни какой-либо из панн. Слезы полились из ее глаз при их безмолвной встрече. Радзивилл тоже был грустен. Положение вдовы и страшная смута в Речи Посполитой трогали его до слез.

— Наияснейшая пани, — сказал он, целуя ей руку, — Бог посылает нам тяжкие скорби, но не следует сомневаться в его милосердии. Он испытывает и возлагает крест.

Но Мария Людвиго не могла удержаться и дала волю своим жалобам.

— Сиротой я осталась, — сказала она, — одинокой, без покровителя. Остаться ли здесь, или вернуться туда, где обо мне забыли? Разорвать все, что связывает с Польшей... все узы? Сама не

знаю. Дожидалась вас, дайте мне совет.

— Прежде всего, — отвечал Радзивилл, — сейчас не время принимать решение, надо подождать; а затем, я не вижу, для чего бы вашему королевскому величеству покидать страну, которая сделала вас своей государыней. Несмотря на ужасное положение Речи Посполитой, она исполнит все свои обязательства.

Так началась беседа. Королева избегала упоминания о кандидатах на престол, а в особенности о своем отношении к ним, но у Радзивилла не было повода скрывать свои взгляды.

— Первое дело теперь, — сказал он, — собрать силы для действительной обороны и возмездия за понесенный позор, но не менее важен — выбор короля...

Королева слушала с напряженным вниманием.

— Имеем, к сожалению, двух кандидатов, — продолжал канцлер, — а лучше бы иметь одного и выбрать его немедленно.

Я высоко ценю князя Карла, прибавил он, но сдается мне, что он неспособен быть королем в охваченном смутой крае.

На лице Марии Людвики, умевшей владеть собою, канцлер не заметил ни противоречия, ни согласия. Она слушала его, по-видимому, равнодушно.

Канцлер слегка замялся.

— Мне известны качества и недостатки короля шведского, — продолжал он, — но я приписываю последние скорее его положению, чем характеру. Упрекают его в непостоянстве, но, может быть, оно объясняется тем, что он до сих пор не мог найти себе дела по душе... Во всяком случае... религиозный, благородный, и если даже окажется слабым, то, надеюсь, сумеет выбрать себе хороших советников. Он умолк.

— Светлейший князь, — тихо сказала королева, — ежели ваш голос за короля шведского, то не сомневаюсь, что он увлечет за собой большинство; но все же вам будет много затруднений с князем Карлом, который, насколько мне известно, не откажется от своей кандидатуры. Может быть, его соблазняют успехом, я же не сумею оценить положение и силы...

— Я тоже еще не успел разобраться в этом, — заметил канцлер. — Но все же мне кажется, что король соберет больше голосов, чем епископ, которого мало кто знает, потому что он никогда не старался, чтобы его узнали.

Наступило молчание. Радзивиллу, очевидно, хотелось знать мнение королевы, но она избегала высказываться.

При том первом свидании Радзивилл не решался быть очень откровенным и настойчивым; не высказывал всех своих мыслей. По его

соображениям, выбор Яна Казимира следовало закрепить браком с Марией Людвигой. Ее энергия, характер, твердость могли прийти на помощь слабости и нерешительности короля. Радзивилл был уверен, что она сумеет овладеть мужем и направить его на добрый путь.

Правда, этот план мог встретить отпор со стороны Яна Казимира, может быть, даже королевы, но канцлер не считал это препятствие неустранимым и рассчитывал на комбинацию, которая казалась ему наиболее полезной для Речи Посполитой.

Долго еще продолжались рассуждения князя Радзивилла, жалобы королевы и взаимные выпытывания, которые не привели ни к чему, кроме уверенности, что князь Альбрехт будет поддерживать короля шведского.

Прямо от королевы Радзивилл отправился к Яну Казимиру, который уже собирался со всем двором в Непорент, где должен был, согласно обычаю, дожидаться результата выборов.

Князь Карл тоже уезжал в Яблонну.

Покои короля несмотря на ранний час были полны народа. Приезжали сенаторы, знатнейшая шляхта, а особенно духовные — один за другим. Оживленный, в довольно хорошем настроении духа, король шведский расхаживал среди гостей, стараясь показать себя любезным, что ему не всегда

удавалось.

Увидев канцлера, значение которого было ему хорошо известно, Казимир бросился к нему с радостным лицом.

— Наконец-то мы вас дождались! — воскликнул он. — И рады же мы вам! Добро пожаловать! Не знаю, как другим, а мне до зарезу необходимы ваш совет и поддержка.

Он всплеснул руками и горестно воскликнул:

— Погибаем! Казаки под Брестом; говорят даже, будто Брест взят и опустошон — монастыри, монахи...

Он не закончил. Все молчали. Радзивилл, который тоже слышал эту весть, но не придавал ей веры, тихо сказал:

— Это только слухи, а наше поражение — и без того уже неправдоподобное — располагает к преувеличениям; не будем же спешить верить; немало ведь и вздора выдумывают...

— Дай Бог, чтоб это оказалось ложью, — перебил король, отводя Радзивилла к сторонке от гостей.

— Светлейший князь, — шепнул он быстро, — мне необходимо поговорить с вами наедине.

— Когда? — спросил канцлер, который тоже желал этой беседы.

— Сейчас, если бы можно было, — отвечал

король, — а самое позднее, вечером. Я не велю никого принимать.

Радзивилл ответил поклоном, а затем подошел к епископам, которые только что прибыли из своих епархий и привезли самые свежие новости о положении страны.

Все они был одинаковы и вызвали со стороны канцлера замечание:

— Наши грехи составляют их силу, наша слабость их оружие!.. Ударим себя в грудь! Не казаки с татарами казнят нас, а Бог, который требует исправления, иначе грозит гибелью. Все мы виновны, и все должны каяться. Положение требует жертв: не будем скупы на сердечное сокрушение, ибо его требует Бог; покаемся, и он смилуется над нами...

Все вполголоса поддакивали канцлеру, но беседа в таком тоне не могла продолжаться долго. Гости один за другим стали раскланиваться и уходить.

Сам королевич, которому Тизепгауз подал шляпу, перчатки, шпагу и плащ, отправился, несмотря на слякоть, навестить одно лицо, перед отъездом в Непорент.

Со времени смерти Владислава IV, глубоко огорченный его коронный маршал Адам Казановский, утративший в покойнике друга и брата, не показывался в свете. Говорили, что он

болен, да так оно и было. Узы, с детства связывавшие покойного короля и Адама Казановского, не могли порваться, не оставив за собою кровавой болезненной раны, которая уже не могла затянуться.

Для Казановского Владислав был всем, был его жизнью, дыханием, силой; смерть короля оставила его круглым сиротой. Женатый и привязанный к молодой, красивой, точно созданной для него, жене, он имел в ней утешителя, но не чувствовал себя утешенным и успокоенным. Тщетно старалась она развлечь, оживить его, вернуть ему охоту к жизни. Казановский впал в апатию, в какое-то одеревенение, превратившееся в тяжкий недуг. Он перестал выходить из дома, неохотно принимал у себя и, по-видимому, потерял интерес ко всему; ежедневно получавшиеся вести о страшных поражениях оставляли его совершенно равнодушным, как будто страна и ее судьба вовсе не касались его.

Все старания жены и родных не могли изменить этого положения. Напрасно старались они развлечь его, заставить отказаться от своего одиночества. Иногда он слушался увещаний жены, позволял себя вывозить в общество, но самая близкая компания едва могла вытянуть из него слово.

Правда, что в своем королевски-пышном

дворце маршал постоянно встречался с воспоминаниями прошлого. Все, чем он обладал, было даром покойного; ему Казановский был обязан богатством, значением, саном, положением. Стены зал и комнат были увешены картинами, изображавшими победы Владислава IV, его портретами и подарками. На каждом шагу маршал сталкивался с покойником, как будто видел его перед собой, и, проснувшись утром, не сразу мог освоиться с мыслью, что его уже нет на свете...

«Уйду за ним», — шептал он.

Жена, быть может, еще надеялась, но родня, которой врачи не обещали близкого выздоровления маршала, крайне беспокоилась.

Казановский не имел детей, а оставлял после себя огромное состояние; одну только движимость оценивали в несколько миллионов. Брат и все кровные родственники тревожились о судьбе этого наследства, относительно которого маршал, несмотря на все напоминания, не делал, по-видимому, никаких распоряжений. Когда об этом заходили речь, он равнодушно пожимал плечами и только поглядывал на жену. Отсюда выводили заключение, что ей будет завещано все.

Эльжбета Казановская, из рода Слуш, балованное детище богатой семьи, казалась созданной для того, чтобы царить в золотом гнезде королевского любимца; красивая, хорошо

воспитанная, живого темперамента, привыкшая господствовать над окружающими, боготворимая Эльзуня легко забрала в руки мужа, который был старше ее и всецело подчинился ей. Кокетливая, требовавшая от жизни непрерывных интриг, движения, лихорадочной суеты, она сумела приобрести такое доверие мужа, что маршал никогда не сомневался в ней и представлял ей полную свободу.

Была она одной из тех молодых пани своего времени, которые собирали вокруг себя многочисленный кружок поклонников и друзей. Такое поведение замужней женщины противоречило тогдашним польским обычаям и сильно смущало важных дам, но Казановская не обращала на это внимания, а так как ее успехи были скорее приятны мужу, чем неприятны, то пани маршалкова могла забавляться, как хотела.

Пышный дворец и весь уклад жизни Казановских при Владиславе IV давал возможность развлекаться и мужу, и жене. Адам Казановский, пресыщенный и утомленный, так же, как она, искал всего, что могло бы искусственно поддержать в нем угасающую жизнь. Нигде в Варшаве не было такого оживления, музыки, пения и танцев, как здесь. В особенности иностранцы толпами валили во дворец и не могли нахвалиться истинно царским приемом.

В первое время пребывания Марии Людвики в

Польше, ее тяжелое положение, быстрое охлаждение ее короля сблизили пани маршалкову с королевой, которой она старалась быть полезной сама и через мужа. Однако эти отношения, вместо того чтобы окрепнуть, скоро разладились.

Заподозренная тотчас по приезде в Польшу королева должна была строго относиться к себе, двору и всем, с кем вступала в какие-либо отношения. Казановская для Марии Людвики, суровой и степенной, была чересчур легкомысленна. Сперва охлаждение, потом все менее частые свидания, которых обе старались избегать, привели к тому, что между женой маршала и королевой сохранились только холодные официальные отношения.

Маршалу это, пожалуй, было на руку, так как избавляло его от хлопот за королеву, ввиду прекращения ее дружбы с его женой.

По смерти Владислава, Казановский, замкнувшийся в своем доме, равнодушный ко всему, только раз вместе с женой официально встретил королеву, возвращавшуюся с телом покойника в Варшаву; больше они у нее не бывали. В государственные дела как раньше, так и теперь, маршал не имел охоты вмешиваться. Слушал рассказы, зевал, иногда пожимал плечами, но живого участия не принимал ни в чем.

Ян Казимир тотчас по возвращении из Италии

сблизился с Казановским, который принимал его с почтением, но довольно равнодушно. Обожатель прекрасного пола, экс-кардинал не мог, конечно, увидев пани маршалкову, остаться к ней равнодушным, а хорошенькая Эльзуня, со своей стороны, не могла не постараться произвести на королевича, хотя бы некрасивого, такое же впечатление, как на других.

Это было и не трудно по отношению к Яну Казимиру, который питал слабость к женщинам вообще и в каждой находил что-нибудь заманчивое.

Королевич увлекся... Этот огонек, сначала маленький, красавица Елзузя, за глаза смеявшаяся над Яном Казимиром, постаралась раздуть, так что король шведский превратился в одного из самых пылких ее поклонников и мог поспорить в горячности чувств даже с паном старостой ломжинским, Радзеевским, который с давних пор считался до зареза влюбленным в жену маршала.

Смерть Владислава, оглашение кандидатуры Яна Казимира, предсказываемая ему корона, естественно, доставили ему предпочтение со стороны пани маршалковой, тогда как влюбленный староста был отправлен в обоз прекрасной Эльзуни.

Если маршал Казановский не интересовался будущим, ни во что не вмешивался и принимал короля шведского с прежним равнодушием и холодностью, то его жена считала свою

обязанностью заручиться дружбой будущего короля. Ее быстрое соображение и верное чутье не оставляли у нее ни малейшего сомнения в том, что избран будет ни кто иной, как Ян Казимир. И она хотела приобрести его расположение для мужа и для себя...

Перед своим вынужденным отъездом в Непорент Ян Казимир был ежедневным гостем во дворце Казановских. Быть может, маршал, недолголюбивавший короля, морщился по этому поводу, но не спорил с женой, доказывавшей, что на всякий случай им следовало иметь короля на своей стороне.

Итак, Ян Казимир перед отъездом из Варшавы поехал проститься во дворец Казановских. Его не ждали в этот день, так как осенний дождь лил, как из ведра, и дул сильнейший ветер, но когда слуга доложил о его приезде, маршал с женою встретили его в передней.

Ян Казимир галантно подал руку красавице Эльзуне, любезно улыбавшейся ему.

— Гонят меня из Варшавы, — сказал он довольно весело. — Мне хотелось проститься с друзьями, какими считаю вас.

Пан Адам ответил холодным поклоном.

— Кто знает, с чем вернусь, — продолжал Ян

Казимир. — Наверное, с гороховым венцом⁸. Речь Посполитая меня не захочет, ей нужен кто-нибудь помоложе, ведь она женщина...

— Ваше королевское величество думаете, — возразила Казановская, — что женщины так ценят молокососов? Мы, между нами, держимся совсем другого мнения, а молодых гусей предоставляем старым бабам.

Ян Казимир рассмеялся.

— Надеюсь, — сказал он, обращаясь к молчавшему маршалу, — что ради памяти моего брата и из расположения к его семейству, а в особенности, ко мне, пан маршал пожелает употребить все влияние...

Маршал слегка улыбнулся.

— Наияснейший пан, — сказал он, — я не пользуюсь ни малейшим влиянием, тем более что никогда его не добивался; но если представится возможность...

Новый поклон закончил его оборвавшуюся речь.

— Если б я имела право явиться на Волю⁹ и в избирательное собрание, — весело вмешалась пани

⁸ То есть провалившись на выборах.

⁹ Предместье, где происходили выборы короля.

Казановская, — я первая провозгласила бы нового короля.

— Карла? — шутливо спросил Казимир.

— О нет, — рассмеялась красавица Эльзуня, — не годится отрывать его от Господа Бога, Которому он посвятил себя.

От этого шутливого тона Ян Казимир перешел к более серьезному.

— Меня обнадеживают, что брат мой в последнюю минуту рассудит, что ему не следует выступать моим соперником, — сказал он, понизив голос, — но... не верится мне что-то. Мне ведь никогда и ни в чем не было удачи, да и теперь, допустивши даже, что бремя короны достанется на мою долю, — в какое тяжелое время, в каких ужасных обстоятельствах! Вы слышали, пан маршал?

— Ах, наияснейший пан, — грустно ответил Казановский, — теперь по целым дням ни о чем другом не слышишь.

— Теперь человек боится засмеяться, — вставила пани, — а то как раз обвинят в равнодушии к родине. Ах, что за время, что за время!

— Покойный король вовремя умер, — угрюмо заметил Казановский, — чтобы не видеть этого.

— Этот негодный холоп Хмель, — начал Ян Казимир, — дошел в своем нахальстве до того, что

обвиняет покойного короля в подстрекательстве к восстанию!

Казановский пожал плечами.

— Наияснейший пан, — сказал он, — в гроб можно безнаказанно швырять камнями и грязью. Король Владислав не нуждается в защите.

Сопровождаемый обоими хозяевами, Ян Казимир во время этого разговора был проведен не в большую, а в малую залу, где сам пан принимал наиболее близких друзей, и увидел здесь перед мраморным камином, в котором ярко пылали дрова, подпираемое двумя золочеными драконами большое резное кресло для себя и поменьше для хозяев.

Эта комната, как и весь дворец Казановских, была настоящей игрушкой, пригодной для королевы. Фламандские картины и портреты на стенах, в рамах с художественной резьбой, на фоне пурпурной с золотом каемки; бронза и мрамор; на столах резные ларцы из черепахи, черного и розового дерева, с инкрустациями из слоновой кости, золота, янтаря; бронзовые клетки с птицами, фламандские портьеры с гербами Казановских, наборный пол с удивительно красивым узором из разноцветного дерева, персидские ковры, тысячи дорогих безделушек придавали восхитительно веселый вид этому помещению.

Довольно равнодушный к подобным вещам,

король шведский не мог, однако, не оценить прелесть этого гнездышка и воскликнул, усаживаясь:

— Как же хорошо у вас, пани! Казановская усмехнулась.

— Мы, как дети, наияснейший пан, — сказала она, тешимся игрушками, — но ведь в этом все достоинство и утеха нашей жизни.

— Паны сенаторы уже съезжаются, — начал Казимир, которого не покидала мысль о выборах. — Видели многих из них?

— Некоторых, — сказал маршал, — я избегаю вмешательства в государственные дела, так как ни здоровье, ни печаль по королю, которую ношу в сердце, не позволяют мне ничем заняться.

— Я, насколько могу, заменяю теперь моего мужа, — шутливо заметила пани, — так как не хочу, чтобы он чурался людей и света и погружался в печаль; но мне приходится его понуждать, до такой степени он ко всему стал теперь равнодушен.

— Счастлив мой брат, что умел найти такого друга, — сказал король, — завидую ему.

В эту минуту доложили о прибытии канцлера Оссолинского, и маршал, учтиво обратившись к гостю, спросил: разрешит ли он принять его?

Ян Казимир наклонил голову.

Минуту спустя вошел Оссолинский с королевской важностью, которая никогда не

покидала его, и почти таким же хмурым лицом, как у хозяина.

Приход его был как нельзя более желанным для короля, но не совсем на руку красавице Эльзуне, которая рассчитывала, пользуясь своей ловкостью, забрать в руки будущего короля. Ей хотелось также знать, не изменились ли его отношения с вдовствующей королевой, которую она не любила и боялась, но предвидела, что она постарается подчинить своему влиянию Яна Казимира.

Оссолинский вошел с тем выражением тревоги, которое теперь не покидало никого. И он, и другие сенаторы, и должностные лица жаждали как можно скорее сложить часть ответственности, целиком тяготевшей теперь на них, на избранного короля.

Хотя срок элекции был назначен на конвокационном сейме, знатнейшая часть сената хотела ускорить его ввиду чрезвычайных обстоятельств. Некоторые вместе с канцлером литовским Радзивиллом хотели сначала убедить одного из кандидатов отказаться в пользу брата, а до тех пор готовы были ждать. Никто не стоял за епископа вроцлавского.

Главным мотивом против его избрания выставляли его духовное звание и почти монашеские нравы. Это было официальным

доводом, но, быть может, причина, по которой желали Яна Казимира, лежала глубоко. Его лучше знали и думали, что с ним легче будет справиться. Кто мог знать, какой король выйдет из замкнутого в себя, скупого, любящего суровой строй жизни епископа, который презирал женщин и не имел ни фаворитов, ни наушников? Напротив, прежняя жизнь короля шведского не оставляла сомнений в том, каким он будет на престоле.

С первых же слов беседа с Оссолинским перешла на государственные дела, но Казановский замолчал, и только жена его вмешивалась в разговор со своим щебетаньем.

Канцлер сообщил королю, что он условился с Альбрехтом Радзивиллом и несколькими другими панями съездить на днях в Яблонную, к князю Карлу, и убеждать его отказаться от кандидатуры. Это, видимо, обрадовало короля шведского.

— Можете заверить его, — сказал он живо, — что я постараюсь вознаграждать его за все убытки, которые он понес. Говорят о миллионе, выброшенном на наем войск и угощение шляхты. Для Карла, который так любит деньги и так усердно собирает их, эта затрата была бы очень досадной, но Речь Посполитая — я сам — возместим ему расходы.

— Кончится, вероятно, его отказом, — прибавил Оссолинский, — потому что сторонников

у князя Карла, за исключением мазовчан, наберется немного.

В дальнейшей беседе канцлер подтвердил все известия, полученные из Замостья, Бреста и с Руси. Казачество дошло в своей разнузданности до крайних пределов. Гетманы в плену, войска разбиты, огромная добыча забрана; безнаказанные наезды на города приводили казаков в какое-то опьянение.

Повторялись грубые выражения пьяного Хмельницкого, поношения, сыпавшиеся на шляхту; но, по словам Оссолинского, казацкий гетман отзывался с почтением как о прошлом, так и о будущем короле. Очевидно, нужно было поскорее выбрать короля как знамя, вокруг которого соберется народ.

Ян Казимир чувствовал себя гордым при мысли о великом назначении, которое ему выпадало: быть спасателем отечества!

V

Прощание с Марией Людвигой было холодное и церемонное, по крайней мере наружно, так как стараниями обоих канцлеров, особенно князя Альбрехта, между вдовствующей королевой и Яном Казимиром состоялся уже молчаливый договор, который связывал их интересы в будущем.

Искусный дипломат Радзивилл, действуя всегда от своего имени, до тех пор наседавал на шведского короля и Марию Людвику, пока королева не выразила согласия выйти замуж за нового короля. Ян Казимир заявил, что, если королева отнесется к нему благосклонно, он готов жениться на ней. Все выгоды этого брака канцлер умел выставить очень ловко.

— Тогда вы найдете, ваше королевское величество, поддержку во Франции и в Риме, а королева будет готова помочь вам деньгами... Все это только условно свяжет ваше королевское величество; но более легкого брака, связанного с наименьшими расходами в такое время, когда трудно достать денег, наконец более достойной супруги, уже носившей корону с такою честью, ваше королевское величество, не найдете. Все говорит за нее.

— Я питаю величайшее почтение к Марии Людвики, — уверял Казимир.

Уладивши таким образом дело, канцлер не сомневался, что несмотря на непостоянство короля, все должно исполниться по намеченной программе.

Ян Казимир в первую минуту покорился: это давало ему уверенность в успехе выборов, поддержку, избавляло от тревоги, но едва Радзивилл ушел, и король остался глаз на глаз с Бутлером, перед которым с детской боязливостью

выкладывал все, он воскликнул, ломая руки:

— Знаешь, Бутлер, во что мне обойдется эта корона? Я-то предвидел. Радзивилл сватает мне вдовствующую королеву и требует, чтобы я на ней женился. Но ведь это значит дать себя заковать; эта женщина будет командовать мною. Я-то предчувствую: будет водить меня на помочах и следить за каждым моим шагом.

Он вдруг оборвал и задумался.

— Она не безобразна, — проворчал он, немного погодя, — этого не скажу, но молодости и следов нет, а для меня молодость...

И, как будто сам устыдившись своей слабости, прибавил:

— Эта официальная женитьба ни к чему не обязывает, Владислав почти не жил с нею, — так, но она делала с ним, что хотела. Увидишь, это и меня ожидает.

— Наияснейший пан, — возразил Бутлер, — положение покойного было совсем иное.

— Да, но она, королева, теперь во сто раз сильнее, чем была вначале, — сказал Ян Казимир. — Имеет связи, друзей, приверженцев.

Староста подошел, поближе к королю.

— Наияснейший пан, — шепнул он, — политика имеет свои права. Впрочем, ваше королевское величество не взяли на себя обязательства жениться. Это только

предположения, пожелания, возможности. Заполучив корону, можно будет и отказаться от них.

Ян Казимир поджал тубы.

— Я тоже! — воскликнул он, доверчиво кладя руки на плечи Бутлера. — Я тоже не собираюсь говорить об этом с самой королевой... нет, нет... Мы говорили с канцлером; это только предположения, что там может устроиться в будущем; ничего больше с моей стороны, ничего больше!

Прощание с королевой было как бы молчаливым выпытыванием с обеих сторон. Обeim было известно, что переговоры уже завязались, но говорить о них еще не время.

Королева вышла более оживленная, чем обыкновенно, а король подошел к ней с галантным выражением, которое при некрасивых чертах его лица и очевидной принужденности делало его смешным. Начал он с выражения признательности королеве за обещанную поддержку. Мария Людовика испугалась нежелательной откровенности и тотчас перебила:

— Я рада бы дать Речи Посполитой, которая меня приняла и приютила, доказательство своей признательности, а лучшая услуга, которую я могу оказать ей, это посодействовать моими слабыми силами скорейшему избранию вашего королевского

величества. Я уже писала королю, моему кузену, и ожидаю скорого ответа на письма к министрам Речи Посполитой.

Ян Казимир поцеловал протянутую ему руку.

— Буду бесконечно обязан вашему королевскому величеству.

Королева, как будто опасаясь неуместной и несвоевременной болтливости со стороны Казимира, продолжала прерывать его уверениями в своей готовности помогать ему всеми силами.

Беседа, во время которой по заранее состоявшемуся соглашению, явился ксендз Флери, кончилась пустыми фразами. Видно было, однако, по их более свободному обращению, что лед был уже сломан, и оба увереннее глядели на будущее. Мария Людвика достаточно знала короля шведского, чтобы быть уверенной, что возьмет верх над ним, и не имела никаких опасений на этот счет.

Встревоженный король утешал себя тайными надеждами, что ему удастся потом отделаться от затруднений и обещаний. Вышел он таким веселым, каким его давно не видали, но старый грех, с отталкивающей физиономией мстителя, встретил его на пороге передней.

Там стояла в другом, но не менее причудливом костюме, Бертони, которую служители короля карлики, дворяне, коморники не могли заставить уйти, хотя и уверяли, что короля

нет во дворце и видеть его невозможно.

— Вернется же к ночи, — вопила нахальная итальянка, — и я шагу с места не сделаю, пока не переговорю с ним!

На этот бурный спор явился король и побледнел, увидев призрак прошлого.

— А, несносная! — воскликнул он. — Дашь ты мне покой? Зачем ты преследуешь меня?

Итальянка поклонилась.

— Я получила важное известие, — сказала она, — что ваше королевское величество уезжает завтра утром в Непорент, а мне не угнаться за вами по теперешнему бездорожью.

И, следуя за королем, хотя не получила приглашения, Бертони добралась до дверей спальни.

— Чего же ты хочешь? — нетерпеливо крикнул Ян Казимир, отворачиваясь от нее.

— Справедливости! — патетическим голосом ответила итальянка. — У меня одна дочь, мое единственное сокровище!..

При упоминании о дочери король остановился.

— Ага! Вот оно что, с дочерью катастрофа! — воскликнул он. — Любопытно!

— Никакой катастрофы нет, потому что я до нее не допущу, — закричала Бертони, — скорее глаза ему выцарапаю.

— Кому? — спросил король.

У дверей комнаты, с фамильярностью, свойственной дворам, в которых нет порядка и дисциплины, собралась целая толпа челяди и слушала. Бертони указала на них.

Король топнул ногой и дал знак рукой, чтобы все вышли.

— Затворить двери!

Итальянка воспользовалась этой минутой, чтобы поправить волосы и убор перед зеркалом. Она выглядела, как голова Медузы, украшенная драгоценностями.

— Что же случилось с твоей дочерью? — спросил король, видимо, заинтересованный.

— Ничего еще не случилось, но я, как мать, должна заботиться о том, чтоб и не могло ничего случиться, — отвечала итальянка. — А пришла я потому, что один дворянин вашего королевского величества, бедный шляхтич, без рода, без племени, служитель, подбирается к Бианке, волочится за ней, пробует подкупать прислугу, вертится под окнами, пишет записочки.

Король засмеялся.

— Ай да молодец! — воскликнул он. — Кто же это? Скажи, как его звать?

Не отвечая на вопрос, Бертони продолжала:

— Я пришла просить, чтобы ваше королевское величество строжайше запретили ему

и пригрозили, что если он будет продолжать коварно подбираться ко мне, то его накажут и выгонят со двора.

— И только? — спросил развеселившийся король. — Не лучше ли повесить его?

— Не издевайтесь, ваше королевское величество, — с гневом перебила итальянка, — тут речь идет о невинном ребенке.

— Скажи мне, как зовут этого счастливца? — спросил Казимир.

Итальянка скорчила гримасу и плюнула.

— Даже имя его паскудное мне вымолвить трудно, — крикнула она, — имя-то мужицкое, холопское! Имя и фамилия друг друга стоят.

Бертони помялась и с усилием произнесла:

— Дызма Стржембош.

Король развел руками и сказал, смеясь:

— Ого, у этого кавалера есть вкус.

Итальянка, привыкшая не церемониться с королем, буркнула:

— Не для пса колбаса...

Между тем король хлопнул в ладоши. Вошел дворянин Тизенгауз.

— Позвать ко мне Стржембоша!

— В передней его нет, — смело ответил Тизенгауз, — но он в замке, я недавно его видел.

— Послать за ним.

Как будто в ответ на этот призыв, в передней

послышался шум, и, проталкиваясь сквозь толпу дворовых, вошел смело и бойко очень красивый молодец, элегантно одетый по польской моде, с завитым хохлом на голове, в коротком плаще, при сабле, хоть рисуй!..

Черные усики, закрученные кверху, придавали еще более смелое выражение его и без того смелому лицу.

— Стржембош! — начал король, стараясь сердито нахмуриться. — Опять на тебя жалуются?

Бертони отошла на несколько шагов, повернувшись спиной к обвиняемому.

— Я ничего не знаю, — сказал шляхтич.

— Как это ничего? — возмутилась итальянка. — Ты хочешь сбить с пути мою дочку.

— Избави Бог, — холодно ответил Стржембош.

— Не можешь отпереться, — настаивала она, — у меня есть доказательства.

— Я и не думаю отпираться, — возразил придворный, — что панна Бианка очень мне нравится, что я даже влюблен в нее. В этом нет греха... Я шляхтич и если влюбился, то и жениться могу.

Бертони схватилась за голову.

— Великая милость для меня! — крикнула она. — Жениться на моей дочери! Да ведь у твоей шляхетской милости всего-то имущества —

дрянная кляча да седло с оборванными ремнями!
Ха! Ха! Ха!

Стржембош невозмутимо слушал.

— И от этого не отпираюсь — я беден, — ответил он. — Но разве я не могу заработать, как другие? А мое шляхетство разве ничего не значит?

Король поглядывал то на своего дерзкого слугу, то на взбешенную его смелостью Бертони.

— Будь же рассудителен, — сказал он Стржембошу. — Видишь, что мать тебя знать не хочет, силой, против ее воли, ничего не возьмешь, а шляхетства твоего она не ценит. Не причиняй же мне беспокойства своими амурами, и чтобы я о них больше не слышал.

Стржембош покрутил усы.

— Ваше королевское величество, — сказал он, — можете приказывать мне, что вам угодно, но сердце наше, как всем известно, в руках Божиих. Я сам над ним не властен. Рад бы быть послушным, но ручаться трудно.

Король усмехнулся и пожал плечами. Итальянка от злости ломала себе пальцы так, что суставы трещали.

— Слышал ты, ваша милость, приказ короля? — закричала она с гневом. — А я тебе запрещаю приближаться к моей дочери, и применю все средства, хотя бы даже пришлось запереть ее в монастырь, чтоб тебе и кончика носа ее не довелось

видеть. Убирайся со своим шляхетством, куда хочешь, может быть, иная мещанка и позарится на него, но мое детище для тебя слишком высоко.

Стржембош слушал, искоса поглядывая на разъяренную итальянку, и ничего не отвечал.

— Ну, можешь идти, — сказал король, — ты знаешь, что тебя ожидает; помни же, чтоб больше я не слышал таких жалоб на тебя, иначе мне придется отказать тебе от службы.

Все это, по-видимому, произвело очень мало впечатления на молодца; можно было заметить, что он усмехался под усами.

Молча и чуть-чуть насмешливо поклонившись королю, слегка кивнув головой итальянке, он вышел точно триумфатор.

Стржембош, которого так презирала Бертони, причисленный к двору Яна Казимира со времени его возвращения, был общим, не исключая короля, любимцем. Бедняк, оставшийся сиротой по смерти отца, известного своей храбростью солдата, служившего в полку епископа краковского, живший со своей матерью где-то в краковском повете, он воспитывался в Кракове, затем, когда Владислав IV набирал новое войско, попал на службу в иностранный полк, а оттуда ко двору Казимира.

Для своих лет он обладал уже большой опытностью; сирота, которому приходилось жить

своим умом и помогать матери, он очень удачно, смело и успешно боролся с судьбою. Красивая наружность, с отпечатком какого-то благородства, производила хорошее впечатление, и оно не обманывало. Он умел заслужить расположение всех, с кем сводили его обстоятельства. Не слишком дерзкий, и не слишком робкий, что бывает еще вреднее, Дызма обладал большим присутствием духа и отвагой, ничего не боялся и не подчинялся чужому влиянию.

При дворе, что очень редко случается, милость государя не создавала ему врагов, так как он никогда не пользовался ею во вред кому бы то ни было; любили его и товарищи, которым он всегда готов был помочь; а король охотно пользовался его услугами, так как он усердно и успешно исполнял поручения. Всякий раз, когда требовалось решить какую-нибудь трудную задачу, он поручал это Стржембошу, который всегда справлялся с нею.

Когда Дызма вышел в переднюю, все товарищи приветствовали его веселым смехом. Многим его любовь была неизвестна, мало кто догадывался о ней, да и мало кто знал Бианку, потому что мать пуще всего старалась спрятать ее от придворной молодежи. Его стали поддразнивать и поздравлять. Стржембош молчал, задумчиво покручивая усики.

Вдруг Бертони вылетела из королевских покоев, захлопнула за собой дверь, и, не обращая внимания на придворных, встретивших ее нахальным смехом, выбежала в коридор.

Стржембош хотел было пойти за ней, но раздумал, и остался, а тут, кстати, король позвал его к себе.

Легко было догадаться, для чего, так как даже в важнейшие моменты своей жизни Ян Казимир не мог отделаться от страсти к скандальным историям, которых, не считаясь со своим достоинством, требовал от самых последних слуг. Это забавляло его, но порождало в них фамильярность, и нигде не было такой распущенности, как при его дворе. Иногда королю приходилось прибегать к крайнему средству — собственноручной расправе с нахалами, но и это не помогало. К нему шли нахальные и дерзкие, и нигде не было такой беспутной прислуги, как у него.

Дызма вошел смело и остановился перед ожидавшим его королем, который с любопытством окинул его взглядом.

— Что ты там натворил? — сказал он, подсмеиваясь. — Как же ты ухитрился добраться до нее, сойтись с ней?

Стржембош не сразу ответил; видно было, что этот допрос ему неприятен.

— Наияснейший пан, — сказал он, — я видел

ее на улице, в костеле, в окне. На том пока все и кончилось, я смотрел и вздыхал, а она отвечала мне глазами. Попробовал написать письмо, но мать перехватила, и подняла бурю.

— Ну а девушка? Расположена к тебе, — с любопытством спросил Ян Казимир, — как ты думаешь?

— Я думаю, что расположена, — ответил Стржембош, — но она еще дитя; это ее забавляет, и знает Бог, пробудил ли я ее сердце.

— Бросишь ведь ее? — сказал король вполголоса. Шляхтич немного подумал.

— Наияснейший пан, — ответил он, — ничего я не знаю, и ни за что не ручаюсь, как судьба велит! Бертони сделала из мухи слона. Я не мог даже ни подойти к девушке, ни молвить слова с нею, а та уж подняла такой шум, словно я к ней в дом ворвался.

— Ты должен знать, — дружески заметил король, — чтоитальянка высоко заносится и требует многого для дочери, да, пожалуй, и не без основания. Говорят, девушка очень хороша собой.

Король остановился, а Стржембош подтвердил:

— Как ангел!

— Ну, и воспитана хорошо, а пронырливая, скупая, хищная мать скопила ей хорошее приданое. Будет богата; значит, сам видишь...

Шляхтич поклонился.

— Вижу, наияснейший пан, — ответил он, — что дело трудное, однако не безнадежное. На войне постараюсь не упускать; случаев отличиться, и, с помощью Божией, может быть, чего-нибудь и достигну.

И Стржембош, отвесив низкий поклон, пошел к дверям, не чувствуя охоты к рассказням, которые так любил король.

На другое утро отправились в Непорент, и пасмурная осенняя погода омрачила все лица от короля до последнего пажа. Никому не хотелось уезжать из Варшавы, которая особенно оживлялась во время выборов.

Оставался в замке только двор вдовствующей королевы, удаления которой нельзя было требовать, так как формально она не принимала никакого участия в элекции и не была в ней заинтересована.

Двор короля шведского первый выехал из замка; в то же время должен был отправиться в Яблонную князь Карл, но в последнюю минуту он приказал своим людям подождать, пока уедет брат.

Князь епископ еще боролся с собой, следует ли ему перед отъездом проститься с королевой, или обойти это требование этикета. Приближенные не могли ничего сообщить ему, кроме того, что Ян Казимир, со своей стороны, исполнил этот долг вежливости.

Для князя Карла давно было ясно, что

королева будет на стороне старшего брата; но ему казалось, что разрывать с нею явно по этому поводу либо выказывать свое раздражение было бы неполитично. И вот в последнюю минуту, когда нужно было садиться в экипаж, епископ послал к ксендзу Флери, с которым был в довольно хороших отношениях, спросить, может ли королева принять его. Запрос этот, посланный с придворным, долго оставался без ответа, но в конце концов Карлу сообщили, что королева ждет его.

Он предпочел бы получить отказ, но отступить было уже поздно. Это скучное свидание не могло иметь никаких последствий; оно было данью вежливости, которой епископ, со своей стороны, не хотел нарушать.

Он нашел королеву в обществе отца Флери и госпожи Дезессар в маленькой приемной. Королева встретила князя Карла с заученной улыбкой, всегда готовой для гостей, с никогда не покидавшим ее самообладанием.

Она держалась свободно, тогда как он был, видимо, смущен и пришиблен. Никогда не отличавшийся красноречием, он едва мог пробормотать несколько слов о неприятности уезжать из Варшавы.

— Ваша княжеская милость легко могла бы избавить себя от этой поездки, — смело ответила королева.

Князь Карл закусил губы и ответил почти с гневом:

— Да, но раз приглашенный и убежденный выступить кандидатом, я не могу и не хочу отступать. Эта корона будет теперь таким тяжким бременем, что обладание ей, как мученичество, никому не может быть поставлено в упрек. С моей стороны, могу заверить ваше королевское величество — это жертва для Речи Посполитой, в которой я родился и сыном которой себя чувствую. Всем известно, как я люблю тихую и уединенную жизнь, но в настоящее время не приходится думать о себе.

— Никто не оценит этой жертвы лучше меня, — вежливо отвечала королева, — так как я видела, какие неприятности приходилось терпеть покойному королю; да и в могиле ему не дают покоя. Клевета преследует его даже за гробом.

Князь Карл слушал, опустив глаза.

— Всего прискорбнее для меня то, — прибавил он, — что я вынужден буду выступать против брата, который после стольких опытов все еще не признает себя побежденным.

Мария Людвика отвечала только взглядом. Чтобы переменить разговор, она осведомилась о помещении в Яблонной и пожалела о его неудобстве.

Еще несколько равнодушных вопросов и

ответов закончили эту тяжелую для обеих сторон беседу.

Королева проводила гостя до дверей, и за порогом князь Карл вздохнул вольнее.

Пока это происходило в замке, а сенаторы лениво съезжались на выборы, канцлер литовский князь Альбрехт и знатнейшие паны старались обдумать, как провести предстоящий сейм, чтобы избежать раздоров, поздних и бесполезных упреков и непоправимой потери времени. Многого нельзя было избежать; одни стремления приходилось уравнивать и обессиливать другими.

Организовались уже группы, которые должны были поддерживать одни предложения, противодействовать другим; все, однако, сходились на том, что спешный выбор короля был главной задачей. Значительное большинство стояло за короля шведского, немногие расхваливали епископа за его порядок и хозяйственность и за отправку нескольких сот желнеров в Бар.

Не успели выпровоженные из Варшавы кандидаты устроиться в Непоренте и Яблонной, как к ним уже начали стекаться гости.

Князь Карл, обыкновенно экономный, должен был показать себя щедрым и гостеприимным, а Ян Казимир, у которого не хватало средств, не мог дать ему такого перевеса над собой. Крайне озабоченный этим, несмотря на старания Бутлера,

он приехал в свою временную резиденцию, но тут впервые почувствовал поддержку невидимой руки, — чьей именно, нетрудно было догадаться. Помощь не исходила явно и открыто от королевы, но не могла исходить ни от кого другого.

У короля был недостаток во всем — в посуде, приборах, припасах, и все это вдруг стало являться точно чудом и прибывало по разным дорогам, видимо, милостью Провидения. Староста дивился и радовался. Король набирался бодрости и поздравлял себя с тем, что вступал в соглашение с королевой.

Однако соперничество князя Карла все еще грозило опасностью, так как епископ имел деньги и не жалел их.

Вражда между братьями росла с каждым днем.

Король шведский, неосторожный в речах и не умевший себя сдерживать, повторял оскорбительные для брата сплетни. Услужники, наушники, паразиты, готовые служить и нашим, и вашим, переносили их из Непорента в Яблонную, где они вызывали раздражение и разжигали упорство.

Нигде не рисовали Яна Казимира такими черными красками, как в апартаментах епископа, и здесь впервые была пущена та верная или ложная сплетня, будто король шведский во всеуслышание

заявил, что он предпочитает итальянского пса польскому шляхтичу.

С другой стороны, высмеивали князя Карла, который собирался сесть на коня и ехать на войну, но это до такой степени не подходило к нему, что его обещания вызывали зубоскальство.

— Ежели у Речи Посполитой не будет других защитников, кроме ему подобных, то казаки съедят ее! — кричали казимировцы.

Сторонники князя Карла настаивали на том, что Ян Казимир нигде не выдерживал, все ему скоро надоедало, и он хватался за что-нибудь новое. Они знали о предсказании благочестивого Иосифа из Копертына, который говорил, то Ян Казимир не будет долго ни монахом, ни кардиналом, а если ему достанется корона, то королем он не умрет, потому что откажется от нее.

Ставили в упрек будущему королю его дурной характер, пристрастие к легкомысленным разговорам, любезное ему общество карликов, шутов, обезьян и т. п.; тогда как князь Карл, степенный и важный, обнаруживал силу характера, благодаря которой мог сделаться, чем хотел. На его постоянство можно было положиться.

Обе стороны извлекали из прошлого все, чем только могли воспользоваться как оружием. На другой день в Непоренте знали, о чем вчера говорилось в Яблонной, и наоборот; и неприязнь

между братьями росла. Это было уже не соперничество кандидатов на престол, а вражда людей, которые не могли простить друг другу взаимных обид.

При таком настроении обеих сторон попытки соглашения, предпринимавшиеся Оссолинским, Радзивиллом и некоторыми духовными, не могли иметь успеха. Раздражение усиливалось с каждым днем, а расточительность князя Карла, который несмотря на свою скупость сыпал деньгами, надеясь одолеть ими Казимира, была лучшим доказательством вражды, достигшей крайних пределов.

Князь Карл, который догадывался и видел, что за Яном Казимиром стоит Мария Людвика, осыпал ее клеветами и постоянно предсказывал кровосмесительный брак, рассчитывая этим возмутить шляхту против своего соперника.

Прихлебатели Карла вытаскивали на свет старые и новые обвинения против королевы и предсказывали в будущем, если только Казимир будет избран, господство развратной женщины. Сенаторы с болью сердца смотрели на эту вражду, усиливавшуюся и разрастающуюся.

Одним из самых деятельных посредников был князь Альбрехт Радзивилл, канцлер литовский, до конца не терявший надежды на соглашение. Он действовал в пользу Казимира, в согласии с

королевой, а с ним заодно работал, хотя не так энергично, Оссолинский. Последний надеялся сохранить этим способом свое давнишнее влияние и значение, и его ненасытное честолюбие могло ожидать для себя много доброго в правление слабого Казимира.

Чрезвычайно искусно действовал литовский канцлер, который знал людей и умел заставлять их служить себе. Он незаметно превращал их в свои орудия, внушая им свои мысли, которые они считали своими собственными.

Не имея возможности часто показываться в Яблонной, где его принимали, правда, очень любезно, но не ожидали многого от его благосклонности, Радзивилл посылал туда епископов и духовенство, чтобы они убеждали князя Карла отказаться, во-первых, от бесполезного соперничества, во-вторых, в случае удачи, от короны, которая была для набожного епископа чересчур тяжким бременем, совершенно не вязавшимся с тем образом жизни, к которому он привык с детства.

Князь Карл, однако, до сих пор не сдавался на убеждения и уговоры, упорно оставался при своем, собрал вокруг себя небольшую группу, поддерживавшую его. По-видимому, он оставался слепым к тому, что она не имела в сенате почти никакого значения, а среди шляхты вряд ли

пользовалась влиянием.

Несмотря на все эти соблазнительные ожидания и надежды, которыми манили князя Карла, он был достаточно рассудителен и слишком хорошо знал людей, чтобы в конце концов не усомниться в глубине души в успехе своей кандидатуры.

Огромные расходы, которым не было конца, тоже начинали угнетать его, однако он не показывал вида, и всякий раз, когда посланцы канцлера являлись хлопотать о переговорах и соглашении, князь Карл с крайней запальчивостью заявлял им, что ни в коем случае не откажется от кандидатуры.

Быстрый взор Радзивилла усматривал, однако, большую разницу в речи и поведении князя Карла со времени его отъезда из Варшавы.

Очевидная помощь королевы, достоверные сведения о том, что французский посол уже получил от своего короля письмо, рекомендовавшее Речи Посполитой Яна Казимира, что апостолическая столица тоже стоит за экс-кардинала, отнимали всякую бодрость у епископа.

Только самолюбие заставляло его стоять на своем.

Высоцкий, Чирский и Нишицкий, энергичнейшая тройка, действовавшая в гостинице

над Вислой, старалась через своих посланцев убедить князя Карла, что мазовецкая шляхта, сильнейшая на избирательном поле, должна сыграть там важную роль, что ей удастся перекричать всех и увлечь за собой другие воеводства.

Можно сказать, что оба кандидата, находясь постоянно в лихорадочной сутолоке, не имели времени для размышлений. В Непоренте и Яблонной не проходило дня без гостей из Варшавы; они непрерывно менялись и еще усиливали возбуждение.

В каждой из этих двух резиденций брали верх благожелатели, побуждавшие стоять на своем, а в особенности, росла партия Яна Казимира, действовавшая наиболее энергично.

Королева скрывала свое участие, неохотно говорила об элекции и притворялась равнодушной, но с Радзивиллом была откровенна, и при его посредничестве шли с ее стороны помощь, советы и сообщения.

Канцлер, напротив, всякий раз, встречаясь с князем Карлом, откровенно говорил ему, что поддерживает Казимира, и уговаривал князя помириться с ним и облегчить Речи Посполитой элекцию, которая была для нее вопросом жизни или смерти.

VI

Кому везет, говорили деды, тот, хоть бы упал наземь, на клад попадет, а кого судьба невзлюбила, у того в руках хлеб превращается в камень. В этом мог убедиться Дызма Стржембош: король шведский всегда питал к нему слабость, но, может быть, не вспомнил бы о нем в эту минуту и не доставил бы ему случая отличиться на службе, если б жалоба Бертони не напомнила о нем.

Возник вопрос, кто будет доставлять в Непорент известия с сейма, не официальные, относительно которых затруднения не было, так как их доставляли и Бутлер, и Тизепгауз, и множество добровольцев, приезжавших ежедневно. Ян Казимир гораздо больше интересовался закулисными толками, которые давали возможность судить о настроении шляхты и будущем ходе сеймовых дел.

Стржембош обладал красивой наружностью, легко сходился с людьми и не возбуждал подозрения.

Ему король предоставил полную свободу ездить из Непорента в Варшаву и обратно и назначил в его распоряжение лошадей и слугу, чтобы он сообщал, что там творится под навесом и вокруг навеса.

Точно так же Нишицкий получил поручение

от князя Карла доставлять в Яблонную сведения о ходе дел в сейме.

Королева в замке, можно сказать, немедленно чувствовала каждое биение пульса сеймовой жизни. Здесь тайно составлялись программы дня, а все, что она предвидела, сбывалось точно чудом.

Стржембошу, который любил действовать свободно и толкаться между людьми, поручение короля было как нельзя более по душе. Если б он выбрал занятие по собственному вкусу, то не выбрал бы другого. Правда, на избирательном поле, даже под навесом, не говоря уже о болотистой дороге в Непорент, не особенно приятно было толкаться в эти осенние дни, тем более что с самого начала выборов дождь лил, как из ведра, не переставая. Но молодость легко переносит подобные неудобства. Многие, страдавшие подагрой, старики-сенаторы чувствовали себя хуже в эти дни, иные слегли в постель, но Стржембош, хотя вода затекала ему за воротник, только посвистывал и возвращался к Яну Казимиру с таким веселым лицом, что придавал ему бодрости. Все, начиная с дождя и слякоти, он толковал в хорошую сторону.

В сущности, сейм, еще далеко не полный, так как многие находились в пути, а о других говорили, что они совсем не приедут, подвигался вперед, как человек, которого предупредили, что он может

попасть в ловушку или в яму. Боялись затрагивать известные обстоятельства и лица, другие же сваливали всю вину на немногих и хотели вывести их на чистую воду и поставить к позорному столбу. Самые разумные, как щитом, прикрывались элекцией, требуя ее ускорения.

Стржембош, который имел хорошее чутье, сидел под навесом, если предвидел, что в сейме будет речь о важных делах, в другие же дни ездил в Непорент. Присоединялся то к двору князя Альбрехта Радзивилла, то к людям маршала Казановского, а между шляхтой не нуждался ни в чьей помощи.

Так как уже с самого начала стало сказываться распадение на Два лагеря, то Стржембош старательно избегал заявлять о своих мнениях и причислял себя к нейтральным.

С первого же дня загремел голос референдария:

«Долой чужеземцев! Выгнать из войска вероломных русинов, отобрать у иностранцев и плебеев аренды» и т. д.

Бурю одерживал кое-как канцлер литовский.

В течение нескольких дней сейм, собственно говоря, пробовал свой пульс, когда прибыли комиссары от злополучного войска и принялись жаловаться и оправдываться. Выступил с истинным мужеством Адам Кисель, русин, но муж, стоявший

за правду, которого одни называли изменником, другие ценили по достоинству.

Стржембош мог сообщить только, что они начали предварительные переговоры. В то же время духовенство выступило с пожертвованиями; одни давали людей, другие, как епископ жмудский, деньги на нужды Речи Посполитой.

Иногда раздавался страстный, глубокий, сердечный голос, трогавший до слез; но, подробно расспрашивая по целым дням о поражениях, сенат пока молчал об элекции.

Каждый день король выбегал навстречу Бутлеру или Стржембошу.

— Ну что? Как дела?

И узнавал, что ни о нем, ни о Карле на сейме речи не было. Ян Казимир волновался.

— Наияснейший пан, — утешал его Дызма, — об элекции, правда, никто не говорит, зато все думают. Пойдет как по маслу.

В эти первые дни горячий патриотизм выражался в пожертвованиях. Маршал Казановский брался защищать Варшаву со своими людьми, канцлер давал их также; Радзивилл для начала обещал сотню драгунов и сотню пехоты, причем у него вырвались горькие слова:

— Наши обозы попали к казакам, потому что были нагружены добром, выжатым у хлопков; оттого и достались хлопам.

Ян Казимир нетерпеливо относился к этим затяжкам, негодовал на них, опасаясь, что они окажутся на руку Карлу. Стржембош с веселым и благодушным лицом уверял, что тревожиться не о чем.

Обыкновенно король расспрашивал его с глазу на глаз, не допуская никаких свидетелей, что и для Дызмы было удобнее, так как он мог свободнее объясняться, а однажды, видя беспокойство короля, осмелился сказать прямо:

— Наияснейший пан, наши дела идут отлично; бояться за них нечего; ее величество королева имеет там много своих людей и ничего не упускает из вида.

Король густо покраснел, хотел было отречься от соглашения с королевой, но сообразил, что из этого ничего не выйдет, и сделал вид, будто пропустил заявление Стржембоша мимо ушей.

«Учусь терпению, — ворчал король, слушая Бутлера и Стржембоша, — ничего не поделаешь...».

Староста Бутлер уверял, что иначе, в сущности, и быть не могло. Сейм давал время братьям столкнуться между собою, чтобы в последнюю минуту не произошло раздвоения и борьбы. На тайных совещаниях у королевы и у канцлера нарочно оттягивали дело, чтоб добиться уступки от Карла.

Кисель даже публично предложил сейму послать за королевичами и потребовал, чтобы они помирились. Но воевода брацлавский не был в курсе дела, и его совет был неподходящим.

Официально сейм ничего не знал о кандидатурах, а навязывать кому-либо корону не соответствовало достоинству Речи Посполитой.

Стржембош снова привозил известия о совещаниях по поводу выбора гетманов, о войске, об отсрочке элекции в виду того, что Литва еще не прибыла. Без нее нельзя было выбрать короля. С разных сторон торопили с элекцией, потом войско прислало послов, требуя произвести следствие, чтобы выяснить, кто был причиной поражений, и так переговоры затягивались без конца.

Тем временем королева, канцлеры и все сторонники Яна Казимира действовали, не всегда даже сообщая ему о своих действиях. Он имел таких опекунов, что мог сидеть, слушать и ждать спокойно.

С одной стороны, король шведский был рад этому, но в то же время это его раздражало. Он чувствовал себя орудием в чьих-то руках, и руки эти принадлежали скрывавшейся в тени, невидимой королеве. Только перед Бутлером он решался говорить об этом унижении.

— Видишь, Бутлер, что я говорил? Она уже взяла меня и спеленала; она здесь все, без нее,

нечего таиться, я не справился бы с Карлом. А что же будет дальше?

— Наияснейший пан, — утешал староста, — ведь дело идет только о выборах пусть она, или, с позволения сказать, хоть сам дьявол даст корону; ваше королевское величество ведь не выдали расписки, написанной кровью, значит, из мнимой неволи всегда можно будет вырваться.

Почти до конца октября Стржембош ездил таким образом, привозя только то известие, что ни в поле, ни под навесом о князе Карле почти не говорят, а называют его *turbator chogi*, так как он может только мешать, без надежды чего-нибудь добиться.

Наступил долгожданный день, когда сейм должен был принять торжественные посольства, прежде всего от Яна Казимира.

Король все время беспокоился о том, чтобы обстановка соответствовала его достоинству, но чья-то невидимая рука устроила все, как нельзя лучше. Неведомо откуда явились триста нарядных всадников для придания блеска процессии, в которой участвовали епископ жмудский, воеводы белзкий и мазовецкий, референдарий литовский, конюший, кравчий коронный хорунжий, староста львовский и много других, а от двора Казимира — Томаш Сапега и Тизенгауз.

Так как погода была сносная, то сенат и

шляхта, выстроившись полукругом в поле, приняли здесь посольство, от имени которого говорил епископ. Речь была удачно составлена и хорошо произнесена, да и настроение такое, что ее приняли с восторгом.

Стржембош, которому поручено было сообщить о впечатлении, полетел в Непорент, не дожидаясь ответа архиепископа и заведующего сеймом. По уши забрызганный грязью, он первый имел счастье доложить нетерпеливому королю о его посольстве.

— Наияснейший пан, — воскликнул он шутливо, — клянусь всем, что для меня свято, сердца всех до того расположены к вашему королевскому величеству, что даже те, которые не слышали ни слова из речи епископа, а таких, наверное, было большинство — приняли ее с самыми восторженными рукоплесканиями и криками.

Казимир не мог успокоиться на этом, ему требовалось знать, как выглядели триста всадников, как держались его друзья, достаточно ли внушительно и важно выступали они от его имени. Дызма должен был описать ему убранство коней, пышность посольства, уверить его, что, по всем имевшимся у него сведениям, князь Карл не мог выступить с таким же великолепием. Король шведский торжествовал, а явившийся рано утром

Бутлер подтвердил по существу сообщения Стржембоша.

— В ближайшие дни принимали шведского посла, который от имени своего короля рекомендовал обоих королевичей, и папского, де Торреса, к свите которого присоединился канцлер Радзивилл. Святейший отец также рекомендовал обоих Речи Посполитой, но всем было известно, что он дал поручение поддерживать экс-кардинала.

Спустя неделю, королевич Карл прислал свое посольство, но скромное, да и те, на которых надеялись, как, например, Ходкевич, староста мозырский, не явились, а речи епископа киевского, обещавшего от имени Карла поставить 166 солдат на защиту Речи Посполитой, не было слышно, так как она была заглушена шумом, без сомнения поднятым умышленно.

Когда в конце речи он упомянул, что князь Карл готов сам идти на войну и пролить свою кровь, стоявшие близ князя Зарембы расхохотались. Даже те, которые рады были бы стараться в пользу Карла, не могли не признать, что посольство потерпело полную неудачу. Все складывалось так, чтобы отнять надежду у епископа.

Неизвестно, что именно сообщили в Яблонную. В Непоренте радость была велика, и омрачалась только тем, что во всем этом Казимир чувствовал невидимую руку, которая его

тревожила.

— Что ты скажешь, Бутлер? — допытывался Казимир.

— Поздравляю и радуюсь; жареные голуби сами валятся нам в рот, — сказал староста, — никогда бы мы не добились этого сами.

— Только, — заметил король, старавшийся хоть этим утешить себя, — не думай, что все это ее дело. Нет, за меня канцлер литовский, а он политик и человек с огромным весом. Это он устроил.

— Да, — отвечал нарочно или нечаянно Бутлер, — я в этом уверен, так как знаю, что он ежедневно совещается с королевой и без нее шагу не ступит. Она и канцлер за нас, можем не сомневаться в успехе.

Тем временем срок выборов откладывался, потому что Радзивилл и Оссолинский решили не приступать к ним, пока князь Карл не отречется. Дело стояло за тем, чтобы убедить его.

Посылали в Яблонную разных особ, предостерегали, старались уверить епископа, что успеха он иметь не может ни в коем случае. Он не уступал.

Высоцкий, Чирский, Нишицкий обнадеживали его, что шляхта перекричит сенаторов и сможет выбрать епископа. Надеялись на Мазуров, рассчитывали через Ходкевичей повлиять на Литву, недовольную управлением